

ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАК

*Утраченные
иллюзии*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Оноре де Бальзак

Утраченные иллюзии

«Азбука-Аттикус»

1843

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

де Бальзак О.

Утраченные иллюзии / О. де Бальзак — «Азбука-Аттикус»,
1843 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21469-9

«Утраченные иллюзии» – роман Бальзака, помещенный им в «Человеческой комедии» в раздел «Сцены провинциальной жизни», на самом деле дает яркую и фантастически подробную панораму жизни французской столицы, вновь убеждая в невероятной способности французского классика проникнуть в любые сферы современной ему жизни, в самые потаенные уголки сознания персонажей. Герои романа Люсьен и Давид – юный провинциальный поэт и его друг, наивный изобретатель – смотрят на действительность сквозь розовые очки. Однако, попав в клещи нужды, они мало-помалу разочаровываются в прежних идеалах, познавая, какие механизмы на самом деле управляют обществом. Наступает горькая ясность: благими намерениями взрослеющих юношей вымощена дорога к успеху любой ценой.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-21469-9

© де Бальзак О., 1843
© Азбука-Аттикус, 1843

Содержание

Часть первая. Два поэта	6
Часть вторая. Провинциальная знаменитость в Париже	80
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Оноре де Бальзак

Утраченные иллюзии

© Н. Г. Яковлева (наследник), перевод, 2022

© В. В. Левик (наследники), перевод стихов, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

* * *

Виктору Гюго

Вы, по счастливому уделу Рафаэлей и Питтов, едва выйдя из отрочества, были уже большим поэтом; Вы, как Шатобриан, как все истинные таланты, восставали против завистников, притаившихся за столбцами Газеты или укрывшихся в ее подвалах. Я желал бы поэтому, чтобы Ваше победоносное имя способствовало победе произведения, которое я посвящаю Вам и которое, по мнению некоторых, является не только подвигом мужества, но и правдивой историей. Неужели журналисты, как и маркизы, финансисты, лекари, прокуроры, не были бы достойны пера Мольера и его театра? Почему бы Человеческой комедии, которая castigat ridendo mores¹, пренебречь одной из общественных сил, если парижская Печать не пренебрегает ни одной?

Я счастлив, милостивый государь, пользуясь случаем, принести Вам дань моего искреннего восхищения и дружбы.

Де Бальзак

¹ Смехом исправляет нравы (лат.).

Часть первая. Два поэта

В те времена, к которым относится начало этой повести, печатный станок Стенхопа и валики, накачивающие краску, еще не появились в маленьких провинциальных типографиях. Несмотря на то что Ангулем основным своим промыслом был связан с парижскими типографиями, здесь по-прежнему работали на деревянных станках, обогативших язык ныне забытым выражением: *довести станок до скрипа*. В здешней отсталой типографии все еще существовали пропитанные краской кожаные мацы, которыми тискальщик наносил краску на печатную форму. Выдвижная доска, где помещается форма с набранным шрифтом, на которую накладывается лист бумаги, высекалась из камня и оправдывала свое название *мрамор*. Прозорливые механические станки в наши дни настолько вытеснили из памяти тот механизм, которому, несмотря на его несовершенства, мы обязаны прекрасными изданиями Эльзевиров, Планте-нов, Альдов и Дидо, что приходится упомянуть о старом типографском оборудовании, вызывавшем в Жероме-Никола Сешаре суеверную любовь, ибо оно играет некую роль в этой большой повести о малых делах.

Сешар был прежде подмастерьем-тискальщиком – *Медведем*, как на своем жаргоне называют тискальщиков типографские рабочие, набирающие шрифт. Так, очевидно, прозвали тискальщиков за то, что они, точно медведи в клетке, топчутся на одном месте, раскачиваясь от кипсея к станку и от станка к кипсею. Медведи в отместку окрестили наборщиков *Обезьянами* за то, что наборщики с чисто обезьяньим проворством вылавливают литеры из ста пятидесяти двух отделений наборной кассы, где лежит шрифт. В грозную пору 1793 года Сешару было около пятидесяти лет от роду, и он был женат. Возраст и семейное положение спасли его от всеобщего набора, когда под ружье встали почти все рабочие. Старый тискальщик очутился один в типографии, хозяйин которой, иначе говоря *Простак*, умер, оставив бездетную вдову. Предприятию, казалось, грозило неминуемое разорение: отшельник-Медведь не мог преобразиться в Обезьяну, ибо, будучи печатником, он так и не научился читать и писать. Несмотря на его невежество, один из представителей народа, спеша распространить замечательные декреты Конвента, выдал тискальщику патент мастера печатного дела и обязал его работать на нужды государства. Получив этот опасный патент, гражданин Сешар возместил убытки вдове хозяина, отдав ей сбережения своей жены, и тем самым приобрел за полцены оборудование типографии. Но не в этом было дело. Надо было грамотно и без промедления печатать республиканские декреты. При столь затруднительных обстоятельствах Жерому-Никола Сешару посчастливилось встретить одного марсельского дворянина, не желавшего ни эмигрировать, чтобы не лишиться угодий, ни оставаться на виду, чтобы не лишиться головы, и вынужденного добывать кусок хлеба любой работой. Итак, граф де Мокомб облачился в скромную куртку провинциального фактора: он набирал текст и держал корректуру декретов, которые грозили смертью гражданам, укрывавшим аристократов. Медведь, ставший Простаком, печатал декреты, расклеивал их по городу, и оба они остались целы и невредимы. В 1795 году, когда шквал террора миновал, Никола Сешар вынужден был искать другого *мастера на все руки*, способного совмещать обязанности наборщика, корректора и фактора. Один аббат, отказавшийся принять присягу и позже, при Реставрации, ставший епископом, занял место графа де Мокомба и работал в типографии вплоть до того дня, когда первый консул восстановил католичество. Граф и епископ встретились потом в палате пэров и сидели там на одной скамье. Хотя в 1802 году Жером-Никола Сешар не стал более грамотным, чем в 1793-м, все же к тому времени он припас *немалую толику* и мог оплачивать фактора. Подмастерье, столь беспечно смотревший в будущее, стал грозой для своих Обезьян и Медведей. Скардность начинается там, где кончается бедность. Как скоро тискальщик почуял возможность разбогатеть, корысть пробудила в нем практическую сметливость, алчную, подозрительную и проницательную. Его житейский

опыт восторжествовал над теорией. Он достиг того, что на глаз определял стоимость печатной страницы или листа. Он доказывал несведущим заказчикам, что набор жирным шрифтом обходится дороже, нежели светлым; если речь шла о петите, он уверял, что этим шрифтом набирать много труднее. Наиболее ответственной частью высокой печати было наборное дело, в котором Сешар ничего не понимал, и он так боялся остаться внакладе, что, заключая сделки, всегда старался обеспечить себе львиный барыш. Если его наборщики работали по часам, он глаз с них не сводил. Если ему случалось узнать о затруднительном положении какого-нибудь фабриканта, он за бесценок покупал у него бумагу и прятал ее в свои подвалы. К этому времени Сешар уже был владельцем дома, в котором с незапамятных времен помещалась типография. Во всем он был удачлив: он остался вдовцом, и у него был только один сын. Он поместил его в городской лицей, не столько ради того, чтобы дать ему образование, сколько ради того, чтобы подготовить себе преемника; он обращался с ним сурово, желая продлить срок своей отеческой власти, и во время каникул заставлял сына работать за наборной кассой, говоря, что юноша должен приучаться зарабатывать на жизнь и в будущем отблагодарить бедного отца, трудившегося не покладая рук ради его образования. Распростившись с аббатом, Сешар назначил на его место одного из четырех своих наборщиков, о котором будущий епископ отзывался как о честном и смышленном человеке. Стало быть, старик мог спокойно ждать того дня, когда его сын станет во главе предприятия и оно расцветет в его молодых и искусных руках. Давид Сешар блестяще окончил Ангулемский лицей. Хотя папаша Сешар, бывший Медведь, неграмотный, безродный выскочка, глубоко презирал науку, все же он послал своего сына в Париж обучаться высшему типографскому искусству; но, посылая сына в город, который он называл *раем рабочих*, старик так убеждал его не рассчитывать на родительский кошелек и так настойчиво рекомендовал накопить побольше денег, что, видимо, считал пребывание сына в *стране Премудрости* лишь средством к достижению своей цели. Давид, обучаясь в Париже ремеслу, попутно закончил свое образование. Метранпаж типографии Дидо стал ученым. В конце 1819 года Давид Сешар покинул Париж, где его жизнь не стоила ни сантима отцу, теперь вызывавшему сына домой, чтобы вручить ему бразды правления. Типография Никола Сешара печатала судебные объявления в газете, в ту пору единственной в департаменте, исполняла также заказы префектуры и канцелярии епископа, а такие клиенты сулили благоденствие энергичному юноше.

Именно тогда-то братья Куэнте, владельцы бумажной фабрики, купили второй патент на право открыть типографию в Ангулеме; до той поры из-за происков старика Сешара и военных потрясений, вызвавших во времена Империи полный застой в промышленности, на этот патент не было спроса; по причине этого же застоя Сешар в свое время не приобрел его, и скардность старика послужила причиной разорения старинной типографии. Узнав о покупке патента, Сешар обрадовался, понимая, что борьба, которая неминуемо возникнет между его предприятием и предприятием Куэнте, обрушится всей тяжестью на его сына, а не на него. «Я бы не выдержал, – размышлял он, – но парень, обучавшийся у господ Дидо, еще потягается с Куэнте». Семидесятилетний старик вздыхал о том времени, когда он сможет зажить в свое удовольствие. Он слабо разбирался в тонкостях типографии, зато слыл большим знатоком в искусстве, которое рабочие шутя называли *пьянографией*, а это искусство, весьма почитаемое божественным автором «Пантагрюэля», подвергаясь нападкам так называемых *Обществ трезвости*, со дня на день все больше предается забвению. Жером-Никола Сешар, покорный судьбе, предопределенной его именем², страдал неутолимой жадой. Многие годы жена сдерживала в должных границах эту страсть к виноградному соку – влечение, столь естественное для Медведей, что г-н Шатобриан подметил это свойство даже у настоящих медведей в Америке; однако философы заметили, что в старости привычки юных лет проявляются с

² Сешар (Sechard) – Сохнуший (от фр. secher).

новой силой. Сешар подтверждал это наблюдение: чем больше он старился, тем больше любил выпить. Эта страсть оставила на его медвежьей физиономии следы, придававшие ей своеобразие. Нос его принял размеры и форму прописного А – кегля тройного канона. Щеки с прожилками стали похожи на виноградные листья, усеянные бородавками, лиловатыми, багровыми и часто всех цветов радуги. Точь-в-точь чудовищный трюфель среди осенней виноградной листвы! Укрытые лохматыми бровями, похожими на запорошенные снегом кусты, маленькие серые глазки его хитро поблескивали от алчности, убивавшей в нем все чувства, даже чувство отцовства, и сохраняли проницательность даже тогда, когда он был пьян. Лысая голова, с плешью на темени, в венчике седеющих, но все еще вьющихся волос, вызывала в воображении образы францисканцев из сказок Лафонтена. Он был приземист и пузат, как старинные лампы, в которых сгорает больше масла, нежели фитиля; ибо излишества, в чем бы они ни сказывались, воздействуют на человека в направлении, наиболее ему свойственном: от пьянства, как и от умственного труда, тучный тучнеет, тощий тощает. Жером-Никола Сешар лет тридцать не расставался со знаменитой муниципальной треуголкой, в ту пору еще встречавшейся кое-где в провинции на голове городского барабанщика. Жилет и штаны его были из зеленоватого бархата. Он носил старый коричневый сюртук, бумажные полосатые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Подобный наряд, выдававший в буржуа простолюдина, столь соответствовал его порокам и привычкам, так беспощадно избличал всю его жизнь, что казалось, старик родился одетым: без этих облачений вы не могли бы вообразить его, как луковицу без шелухи. Если бы старый печатник издавна не обнаружил всю глубину своей слепой алчности, одного его отречения от дел было бы достаточно, чтобы судить о его характере. Несмотря на познания, которые его сын должен был вынести из высокой школы Дидо, он уже давно замыслил *обработать* дельце повыгоднее. Выгода отца не была выгодой сына. Но в делах для старика не существовало ни сына, ни отца. Если прежде он смотрел на Давида как на единственного своего ребенка, позже сын стал для него просто покупателем, интересы которого были противоположны его интересам: он хотел дорого продать, Давид должен был стремиться дешево купить; стало быть, сын превращался в противника, которого надо было победить. Это перерождение чувства в личный интерес, протекающее обычно медленно, сложно и лицемерно у людей благовоспитанных, совершилось стремительно и непосредственно у старого Медведя, явившего собою пример того, как лукавая пьянография может восторжествовать над ученой типографией. Когда сын приехал, старик окружил его той расчетливой любезностью, какой люди ловкие окружают свои жертвы: он ухаживал за ним, как любовник ухаживает за возлюбленной; он поддерживал его под руку, указывал, куда ступить, чтобы не запачкать ноги; он приказал положить грелку в его постель, затопить камин, приготовить ужин. На другой день, пытаясь за обильным обедом напоить сына, Жером-Никола Сешар, сильно подвыпивший, сказал: «*Потолкуем о делах?*» – и фраза эта прозвучала так нелепо между приступами икоты, что Давид попросил отложить деловые разговоры до следующего дня. Старый Медведь слишком искусно умел извлекать пользу из своего опьянения, чтобы отказаться от долгожданного поединка. «Довольно!» – заявил он. Пятьдесят лет он тянул ляжку и ни одного часа не желает обременять себя. Завтра же его сын должен стать *Простаком*.

Тут, пожалуй, уместно сказать несколько слов о самом предприятии. Типография уже с конца царствования Людовика XIV помещалась в той части улицы Болье, где она выходит на площадь Мюрье. Стало быть, дом издавна был приспособлен к нуждам типографского производства. Обширная мастерская, занимавшая весь нижний этаж, освещалась через ветхую стеклянную дверь со стороны улицы и через широкое окно, обращенное во внутренний дворик. В контору к хозяину можно было пройти и через подъезд. Но в провинции типографское дело неизменно возбуждает столь живое любопытство, что заказчики предпочитали входить в мастерскую прямо с улицы через стеклянную дверь, проделанную в фасаде, хоть и надо было спускаться на несколько ступенек, так как пол в мастерской приходился ниже уровня мосто-

вой. От изумления любопытствующие обычно не принимали во внимание неудобств типографии. Если им случалось, пробираясь по ее узким проходам, засмотреться на своды, образуемые листами бумаги, растянутыми на бечевках под потолком, они наталкивались на наборные кассы или задевали шляпами о железные распорки, поддерживающие станки. Если им случалось заглядеться на наборщика, который читал оригинал, проворно вылавливал буквы из ста пятидесяти двух ящичков кассы, вставлял шпону и перечитывал набранную строку, они наталкивались на стопы увлажненной бумаги, придавленной камнями, или ударялись боком об угол станка; все это к великому удовольствию Обезьян и Медведей. Не было случая, чтобы кому-нибудь удавалось дойти без приключений до двух больших клеток, находившихся в глубине этой пещеры и представлявших собою со стороны двора два безобразных выступа, в одном из которых восседал фактор, а в другом сам хозяин типографии. Виноградные лозы, изящно обвивавшие стены здания, приобретали, принимая во внимание славу хозяина, особо приманчивую местную окраску. В глубине двора, прилепившись к стене соседнего дома, ютилась полуразрушенная пристройка, где смачивали и подготавливали для печати бумагу. Там помещалась каменная мойка со стоком, где перед печатанием и после печатания промывались формы, в просторечье *печатные доски*; отсюда в канаву стекала черная от типографской краски вода и там смешивалась с кухонными помоями, цветом своим смущая крестьян, съезжавшихся в базарные дни в город. «А ну как сам черт моется в этом доме?» – говаривали они. К пристройке примыкали с одной стороны кухня, с другой – сарай для дров. Во втором этаже этого дома, с мансардой из двух каморок, было три комнаты. Первая из них, находившаяся над сенями и столь же длинная, если не считать ветхой лестничной клетки, освещалась с улицы сквозь узкое оконце, а со двора сквозь слуховое окно и служила вместе и прихожей, и столовой. Незатейливо выбеленная известью, она с грубой откровенностью являла образец купеческой скарденности; грязный пол никогда не мылся; обстановку составляли три скверных стула, круглый стол и буфет, стоявший в простенке между дверьми, которые вели в спальню и гостиную; окна и двери потемнели от грязи; комната была обычно завалена кипами оттисков и чистой бумаги; нередко на этих кипах можно было увидеть бутылки, тарелки с жарким или сладостями со стола Жерома-Никола Сешара. Спальня, окно которой, в раме со свинцовым переплетом, выходило во двор, была обтянута ветхими коврами, какими в провинции украшают стены зданий в день праздника Тела Господня. Там стояли широкая кровать с колонками и пологом, с шитыми подзорами, и пунцовым покрывалом, два кресла, источенные червями, два мягких стула орехового дерева, крытые ручной вышивкой, старая конторка и на камине – часы. Эта комната, дышавшая патриархальным благодушием и выдержанная в коричневых тонах, была обставлена Рузо, предшественником и хозяином Жерома-Никола Сешара. Гостиная, отделанная в новом вкусе г-жою Сешар, являла взору ужасающую деревянную обивку стен, окрашенную в голубую краску, как в парикмахерской; верхняя часть стен была оклеена бумажными обоями, на которых темно-коричневой краской по белому полю были изображены сценки из жизни Востока; обстановка состояла из шести стульев, обитых синим сафьяном, со спинками в форме лиры. Два окна, грубо выведенные арками и выходившие на площадь Мюрье, были без занавесей; на камине не было ни канделябров, ни часов, ни зеркала. Г-жа Сешар умерла в самый разгар своего увлечения убранством дома, а Медведь, не усмотрев в напрасных ухищрениях никакой выгоды, отказался от этой затеи. Сюда именно, *pede titubante*³, привел Жером-Никола Сешар своего сына и указал ему на лежавшую на круглом столе опись типографского имущества, составленную фактором под его руководством.

– Читай, сынок, – сказал Жером-Никола Сешар, переводя пьяный взгляд с бумаги на сына и с сына на бумагу. – Увидишь, что я отдаю тебе не типографию, а сокровище.

³ Спотыкаясь (*лат.*).

– «Три деревянных станка с железными распорками, с чугунной плитой для растирания красок...»

– Мое усовершенствование, – сказал старик Сешар, прерывая сына.

– «...со всем оборудованием, кипсеями, мацами, верстаками и прочая... тысяча шестьсот франков!...» Но, отец, – сказал Давид Сешар, выпуская из рук инвентарную опись, – да это просто какие-то *деревяшки*, а не станки! И ста экую они не стоят, разве для топки печей пригодятся...

– Деревяшки?! – вскричал старик Сешар. – Де-ре-вяшки?.. Бери-ка опись и пойдем вниз! Поглядишь, способна ли ваша слесарная дребедень работать так, как эти добрые, испытанные, старинные станки. И тогда у тебя язык не повернется хулить честные станки, ведь они прочны, что твои почтовые кареты, и будут служить тебе всю твою жизнь, не разоряя на починки. Деревяшки! Да эти деревянные прокормят тебя! Де-ре-вяшки! Твой отец работал на них целую четверть века. Они и тебя в люди вывели.

Отец сломя голову сбежал вниз по исхоженной, покосившейся, шаткой лестнице и не споткнулся; он распахнул дверь, ведущую из сеней в типографию, бросился к ближайшему станку, как и прочие, ради этого случая тайком смазанному маслом и вычищенному, и указал на крепкие дубовые стойки, натертые до блеска учеником.

– Не станок, а загляденье! – сказал он.

Печатался пригласительный билет на свадьбу. Старый Медведь опустил рашкет на декель и декель на мрамор, который он прокатил под станок; он выдернул куку, размотал бечевку, чтобы подать мрамор на место, поднял декель и рашкет с проворством молодого Медведя. Станок в его руках издал столь забавный скрип, что вы могли счесть его за дребезжание стекла под крылом птицы, ударившейся на лету об окно.

– Неужто хоть один английский станок так работает? – сказал отец изумленному сыну.

Старик Сешар от первого станка перебежал ко второму, от второго к третьему и поочередно на каждом из них с одинаковой ловкостью проделал то же самое. От его глаз, помутившихся от вина, не ускользнуло какое-то пятнышко на последнем станке, оставшееся по небрежности ученика; пьяница, крепко выругавшись, принялся начищать станок полой сюртука, уподобясь барышнику, который перед продажей лошади чистит ее скребницей.

– С этими тремя станками ты, Давид, и без фактора выручишь тысяч девять в год. Как будущий твой компаньон, я не разрешаю тебе заменять их проклятыми металлическими станками, от которых изнашивается шрифт. Вы там, в Париже, подняли шум – то-то, сказать, чудо! – вокруг изобретения вашего проклятого англичанина, врага Франции, только и помышлявшего что о выгоде для словолитчиков. А-а, вы бредите стенхопами! Благодарствую за ваши стенхопы! Две тысячи пятьсот франков каждый! Да это почти вдвое дороже всех моих трех сокровищ, вместе взятых! Вдобавок они недостаточно упруги и сбивают литеры. Я не учен, как ты, но крепко запомни: стенхопы – смерть для шрифтов. Мои три станка будут служить тебе без отказа, печатать *чистехонько*, а большего от тебя ангулемцы и не потребуют. Печатай ты хоть на железе, хоть на дереве, хоть на золоте или на серебре, они ни лиара лишнего не заплатят.

– «*Item*⁴, – читал Давид, – пять тысяч фунтов шрифта из словолитни господина Вафлара...»

При этом имени ученик Дидо не мог удержаться от улыбки.

– Смейся, смейся! Двенадцать лет минуло, а шрифты как новенькие. Вот это, скажу, словолитня! Господин Вафлар – человек честный и материал поставляет прочный; а, по мне, лучший словолитчик тот, с кем реже приходится дело иметь.

⁴ Также (*лат.*).

– «...оценены в десять тысяч франков...» – продолжал Давид. – Десять тысяч франков, отец! Но ведь это по сорок су за фунт, а господа Дидо продают новый цицero по тридцать шесть су за фунт. Десять су за фунт, как за простой лом, красная цена вашим старым *гвоздям*.

– Что-о? Гвозди? Это ты так называешь батарды, куле, рондо господина Жилле, бывшего императорского печатника! Да этим шрифтам цена шесть франков фунт! Лучшие образцы граверного искусства! Пять лет, как куплены, а посмотри-ка, многие из них еще новешенькие!

Старик Сешар схватил несколько пачек с образцами гарнитур, не бывшими в употреблении, и показал их сыну.

– Я по ученой части слаб, не умею ни читать, ни писать, но у меня достаточно смекалки, чтобы распознать, откуда пошли английские шрифты твоих господ Дидо! От курсивов фирмы Жилле! Вот *рондо*, – сказал он, указывая на одну из касс и извлекая оттуда литеру *М* круглого цицero, еще не початого.

Давид понял, что бесполезно спорить с отцом. Надо было либо все принять, либо все отвергнуть, сказать *да* или *нет*. Старый Медведь включил в опись решительно все, до последней бечевки. Любая рамка, дощечка, чашка, камень и щетка для промывки – все было оценено с рачительностью скряги. Общая цифра составляла тридцать тысяч франков, включая патент на звание мастера-типографа и клиентуру. Давид раздумывал, выйдет ли прок из такого дела? Заметив, что сын озадачен описью имущества, старик Сешар встревожился; он предпочел бы ожесточенный торг молчаливому согласию. Уменье торговаться говорит о том, что покупатель – человек делового склада и способен защищать свои выгоды. «*Кто не торгуется*, – говаривал старик Сешар, – *тот ничего и не заплатит*». Стараясь угадать, о чем думает его сын, он между тем перечислял жалкое оборудование, без которого, однако ж, не обходится ни одна провинциальная типография; он поочередно подводил Давида к станку для лощения бумаги, к станку для обрезывания бумаги, предназначенной для выполнения городских заказов, и расхваливал их устройство и прочность.

– Старое оборудование всегда самое лучшее, – сказал он. – В типографском деле за него надобно было бы платить дороже, чем за новое, как это водится у золотобитов.

Ужасающие заставки с изображениями гименов, амуров, мертвецов, подымающих камень своего собственного надгробия, предназначенные увенчивать какое-нибудь *М* или *В*, огромные обрамления для театральных афиш, украшенные масками, – все это благодаря красноречию пьяного Жерома-Никола превращалось в нечто, не имеющее себе цены. Он рассказал сыну о том, как крепко провинциалы держатся за свои привычки: тщетны были бы усилия соблазнить их даже кое-чем и лучшим. Он сам, Жером-Никола Сешар, пытался было пустить в ход календарь, затмевавший собою пресловутый «Двойной Льежский», который печатался на сахарной бумаге! И что же? Великолепным его календарям предпочли привычный «Двойной Льежский»! Давид убедится в ценности этой старины, коль скоро станет продавать ее дороже самых разорительных новинок.

– Так вот что, сынок! Провинция есть провинция, а Париж – это Париж. Положим, явится к тебе человек из Умо заказать пригласительные билеты на свадьбу, а ты их отпечатаешь без купидона с гирляндами? Да он сам себе не поверит, что женится, и возвратит заказ, ежели увидит только одно *М*, как у господ Дидо, знаменитостей книгопечатного дела, но в провинции их выдумки привьются разве что лет через сто. Вот оно как!

Люди великодушные обычно плохие дельцы. Давид был из тех застенчивых и нежных натур, которые страшатся споров и отступают, стоит только противнику затронуть их сердце. Возвышенные чувства и власть, которую сохранил над ним старый пьяница, обезоруживали сына в постыдном торге с отцом, тем более что он не сомневался в добрых намерениях старика, ибо сперва приписывал его ненасытную алчность привязанности печатника к своим орудиям производства. Однако ж, поскольку Жером-Никола Сешар приобрел все оборудование

от вдовы Рузо за десять тысяч франков на ассигнации, а при настоящем положении вещей тридцать тысяч франков были цифрой баснословной, сын вскричал:

– Отец, вы меня задушить хотите!

– Я?! Родитель твой! Опомнись, сынок! – воскликнул старый пьяница, воздев руки к потолку, где сушилась бумага. – Но во что же ты ценишь патент, Давид? Да знаешь ли ты, что нам дает один только «Листок объявлений», считая десять су за строку? Прошлый месяц одно это издание принесло мне доходу пятьсот франков! Сынок, открой-ка книги да взгляни-ка в них! А сколько еще дают афиши и ведомости префектуры, заказы мэрии и епископата! Ты просто ленивец, не желаешь разбогатеть. Торгуешься из-за лошадки, которая тебя вывезет в какое-нибудь превосходное поместье вроде имения Марсак.

К инвентарной описи был приложен договор об основании товарищества между отцом и сыном. Добрый отец отдавал товариществу внаймы свой дом за тысячу двести франков, хотя сам купил его за шесть тысяч ливров, и притом оставлял за собою одну из двух комнаток в мансарде. Покуда Давид Сешар не выплатит ему тридцати тысяч франков, доходы будут делиться пополам, полным и единственным владельцем типографии он станет в тот день, как расквитается с отцом. Давид взвесил в уме ценность патента, клиентуры и «Листка объявлений», не принимая во внимание оборудования; он решил, что справится, и принял условия. Отец, привыкший к крестьянской мелочности и ничего ровно не смысливший в дальновидной расчетливости парижан, был удивлен столь быстрым согласием сына.

«Уж не разбогател ли мой сын? – подумал он. – А может, он замышляет, как бы мне не заплатить?»

Заподозрив, что у сына есть деньги, старик стал выпрашивать, не может ли он ссудить отца в счет будущего? Любопытство отца пробудило недоверие в сыне. Давид замкнулся в себе. На другой день старик Сешар приказал подмастерью перенести в свою комнатку на третьем этаже всю мебель, рассчитывая отправить ее в деревню на обратных порожних повозках. Он предоставил сыну три пустые комнаты во втором этаже и ввел его во владение типографией, не дав ни сантима для расплаты с рабочими. Когда Давид попросил отца, как совладельца, принять участие в расходах, необходимых для их общего дела, старый печатник притворился несообразительным. «Да где это сказано, в придачу к типографии еще и деньги давать? – говорил он. – Моя часть уже вложена в дело». Прижатый к стене логикой сына, старик отвечал, что, когда он покупал типографию у вдовы Рузо, он сумел обернуться, не имея ни единого су в кармане. Ежели он, нищий, необразованный рабочий, вышел из положения, то ученик Дидо и подавно найдет выход. Притом Давид и деньги-то зарабатывает благодаря образованию, а кому он обязан этим образованием, как не отцу, который в поте лица своего добывал для этого средства? И теперь как раз кстати заработанные деньги пустить в оборот.

– И куда ты дел свои *получки*? – сказал он, пытаясь выяснить вопрос, не разрешенный накануне из-за скрытности сына.

– Но ведь я на что-то жил. Покупал книги, – раздраженно отвечал Давид.

– А-а! Ты покупал книги? Плохо же ты поведешь дела! Кто покупает книги, тому не пристало их печатать, – отвечал Медведь.

Давид испытал самое ужасное из унижений – унижение, причиненное нравственным падением отца; ему пришлось выслушать целый поток низких, слезливых, подлых торгашеских доводов, которыми старый скряга оправдывал свой отказ. Давид затаил душевную боль, почувствовав себя одиноким, лишенным опоры, обнаружив торгаша в отце, и из философской любознательности пожелал изучить его поглубже. Он заметил старику, что никогда не требовал от него отчета о состоянии матери. Если это состояние не могло пойти в счет платы за типографию, нельзя ли, по крайней мере, вложить его в их общее дело?

– Состояние твоей матери? – сказал старик Сешар. – Оно было в ее уме и красоте!

В этом ответе сказала вся натура старика, и Давид понял, что, настаивая на отчете, он вынужден будет затеять бесконечную разорительную и позорную тяжбу. Благородное сердце приняло бремя, уготованное ему, хотя он знал, как трудно ему будет выполнить обязательства, принятые им на себя в отношении отца.

«Буду работать, – сказал он себе. – Тяжело придется, но и старику бывало нелегко. Да и работать я буду разве не на себя самого?»

– Я тебе оставлю сокровище, – сказал отец, смущенный молчанием сына.

Давид спросил, что это за сокровище.

– Марион, – сказал отец.

Марион была дородная крестьянская девушка, незаменимая в их типографском деле: она промачивала и обрезала бумагу, выполняла всякие поручения, готовила пищу, стирала белье, разгружала повозки с бумагой, ходила получать деньги и чистила мацы. Будь Марион грамотной, старик Сешар поручил бы ей и набор.

Отец пешком пошел в деревню. Как ни был он доволен своей сделкой, скрытой под вывеской товарищества, все же его беспокоило, каким путем будет он выручать от сына свои деньги. Вслед за тревогами, связанными с продажей, следуют тревоги из-за неуверенности в платеже. Все страсти по существу иезуитичны. Этот человек, почитавший образование бесполезным, старался уверить себя в облагораживающем влиянии наук. Он отдал свои тридцать тысяч франков под залог понятий о чести, привитых его сыну образованием. Давид воспитан в строгих правилах; он изойдет кровавым потом, но выполнит обязательства; знания помогут ему изыскать средства, он уже проявил свое великодушие, он заплатит! Многие отцы, поступая так, думают, что они поступают по-отечески, в чем и убедил себя наконец старый Сешар, подходя к своему винограднику на окраине Марсака, небольшой деревушки в четырех лье от Ангулема. Усадьба его с красивым домом, выстроенным прежним владельцем, расширялась из года в год начиная с 1809 года, когда старый Медведь ее приобрел. Он променял заботы о печатном станке на заботы о виноградном прессе и говаривал, что недаром издавна привержен к вину, – ему ли не знать в нем толк. В первый год жизни в деревенском уединении озабоченное лицо старика Сешара постоянно маячило над виноградными тычинами; он вечно торчал в винограднике, как прежде буквально жил в типографии. Нежданные тридцать тысяч франков опьянили его сильнее, нежели молодое сентябрьское вино, в воображении он уже держал деньги в руках и пересчитывал их. Чем менее законно доставалась ему эта сумма, тем более он желал положить ее себе в карман. Поэтому, понуждаемый тревогой, он часто прибегал из Марсака в Ангулем. Он взбирался по откосу скалы, на вершине которой раскинулся город, шел в мастерскую, чтобы посмотреть, справляется ли его сын с делами. Станки стояли на своих местах. Единственный ученик в бумажном колпаке отчищал мацы. Старый Медведь слышал скрип станка, печатавшего какое-нибудь извещение, он узнавал свои старинные шрифты, он видел сына и фактора, каждого в своей клетке, читавших книги, которые Медведь принимал за корректуры. Отобедав с Давидом, он возвращался в Марсак в тревожном раздумье. Скупость, как и любовь, обладает даром провидения грядущих опасностей, она их чувствует, она как бы торопит их наступление. Вдали от мастерской, где станки действовали на него завораживающе, переноса в те дни, когда он наживал состояние, виноградарь начинал подмечать в сыне тревожные признаки бездеятельности. Фирма «Братья Куэнте» страшила его, он видел, как она затмевает фирму «Сешар и сын». Короче, старик чувствовал веяние несчастья. Предчувствие не обманывало его: беда нависла над домом Сешара. Но у скупцов свой бог. И по непредвиденному стечению обстоятельств этот бог должен был отвалить в мощну пьяницы весь барыш от его ростовщической сделки с сыном. Но почему же погибала типография Сешара, несмотря на все условия для процветания? Равнодушный к клерикальной реакции в правящих кругах, вызванной Реставрацией, но равно безразличный и к судьбам либерализма, Давид хранил опаснейший нейтралитет в вопросах политических и религиозных. Он жил в то время, когда

провинциальные коммерсанты, если они желали иметь заказчиков, обязаны были придерживаться определенных мнений и выбирать между либералами и роялистами. Любовь, закрывшаяся в сердце Давида, его научные интересы, благородство его натуры не позволили развиться в нем алчности к наживе, которая изобличает истого коммерсанта и которая могла бы побудить его изучить все особенности провинциальной и парижской промышленности. Оттенки, столь резкие в провинции, ступеньками в мощном движении Парижа. Братья Куэнте пели в один голос с монархистами, соблюдали посты, посещали собор, обхаживали духовенство и первые переиздали книги духовного содержания, как только в них появился спрос. Таким путем Куэнте опередили Давида Сешара в этой доходной отрасли и вдобавок оклеветали его, обвинив в вольнодумстве и безбожии. Как можно, говорили они, иметь дело с человеком, у которого отец – сентябрист, пьяница, бонапартист, старый скряга и притом рано или поздно оставит сыну груды золота? А они бедны, обременены семьей, тогда как Давид холост и будет баснословно богат; не мудрено, что он потакает своим прихотям, и так далее. Под влиянием обвинений, возводимых против Давида, префектура и епископат передали наконец все свои заказы братьям Куэнте. Вскоре эти алчные противники, ободренные беспечностью соперника, основали второй «Листок объявлений». Работа старой типографии свелась к случайным заказам, а доход от объявлений уменьшился наполовину. Разбогатев на издании церковных требников и книг религиозного содержания, принесших солидную прибыль, фирма Куэнте вскоре предложила Сешарам продать «Листок» – короче, предоставить им исключительное право на департаментские объявления и судебные публикации. Как только Давид сообщил эту новость отцу, старый виноградарь, и без того встревоженный успехами фирмы Куэнте, полетел из Марсака на площадь Мюрье с быстротою ворона, почуявшего трупы на поле битвы.

– Предоставь мне столкнуться с Куэнте, не путайся в это дело, – сказал он сыну.

Старик быстро разгадал, что именно прельщает Куэнте, он испугал их своей прозорливостью. Сын его собирается сделать глупость, он хочет это предотвратить, сказал он. «На что мы будем нужны нашим заказчикам, ежели уступим «Листок»? Стряпчие, нотариусы, все купечество в Умо – либералы; Куэнте думали утопить Сешаров, обвинив их в либерализме, а сами бросили им якорь спасения – ведь объявления либералов останутся за Сешарами! Продать «Листок»! Стало быть, надобно продать и все оборудование типографии, и патент».

Он запросил с Куэнте шестьдесят тысяч франков – стоимость типографии: он не желает разорить сына, он любит, он защищает его. Виноградарь ссылался на сына, как крестьяне ссылаются на жен: сын соглашался или не соглашался, смотря по предложениям, которые старик вырывал одно за другим у Куэнте, и он заставил их, правда не без труда, заплатить за «Шарантский листок» двадцать две тысячи франков. Давид же обязался впредь не издавать никакой газеты под угрозой тридцати тысяч неустойки. Сделка была равносильна самоубийству типографии Сешара, но это мало заботило винодела. Грабеж всегда влечет за собою убийство. Старик рассчитывал прибрать к рукам эту сумму в счет уплаты за пай в товариществе; а ради того, чтобы получить деньги, он охотно отдал бы и Давида в придачу, тем более что этот несносный сын имел право на половину нечаянного сокровища. В возмещение убытков великодушный отец уступал сыну типографию, не отступаясь, однако ж, от пресловутых тысячи двухсот франков за наем дома. После продажи «Листка» братьям Куэнте старик редко навещался в город: он ссылался на свой преклонный возраст, но истинная причина была в том, что теперь его мало заботила типография, – ведь она ему уже не принадлежала! Однако ж он не мог отрешиться от старинной привязанности к своим станкам. Когда дела приводили его в Ангулем, чрезвычайно трудно было решить, что более влекло старика заглянуть в свой дом – деревянные ли станки или сын, которому он «для порядка» напоминал о плате за помещение. Его бывший фактор, перешедший теперь к Куэнте, разгадал подоплеку этого отцовского великодушия: хитрая лиса, говорил он, сохраняет таким путем за собою право вмешиваться в дела сына, ибо в силу долга, который накапливается за наем помещения, он становится главным его займодавцем.

Беспечность Давида Сешара имела свои причины, вполне обрисовывающие характер этого молодого человека. Через несколько дней после того, как он вступил во владение родительской типографией, он встретил своего школьного товарища, в ту пору крайне нуждавшегося. Товарищ Давида Сешара, молодой человек двадцати одного года, по имени Люсьен Шардон, был сыном бывшего военного лекаря республиканской армии, уволенного в отставку после ранения. Природа создала Шар-дона-отца химиком, а случай сделал его аптекарем в Ангулеме. Смерть настигла его в самом разгаре подготовительных работ, необходимых для осуществления прибыльного изобретения, которому он посвятил многие годы ученых исследований. Он хотел найти средство против подагрических заболеваний. Подагра – болезнь богачей, а богачи готовы дорого заплатить, чтобы вернуть утраченное здоровье. Поэтому аптекарь и поставил себе цель – решить эту задачу, хотя его волновали и многие другие проблемы.

Покойный Шардон, когда ему пришлось выбирать между наукой и практикой, понял, что только наука может его обеспечить; итак, он изучил причины болезни и в основу лечения положил известный режим, приноровив его к особенностям каждого организма. Он умер в Париже, приехав туда хлопотать о признании своего изобретения Академией наук, и ему не довелось воспользоваться плодами своих трудов. Будучи уверен, что он разбогатеет, аптекарь ничего не жалел ради образования сына и дочери, и содержание семьи поглощало все доходы от аптеки. Итак, он не только оставил детей в нищете, но, на их несчастье, воспитал их в надежде на блестящее будущее, которая угасла вместе с ним. Знаменитый Деппен, лечивший его, был при нем до последней минуты и видел, как он мучился в бессильной ярости. Честолюбие бывшего лекаря объяснялось его страстной любовью к жене, последней представительнице рода де Рюампре, которую он чудом спас от эшафота в 1793 году. Не спрашивая согласия девушки на подобный обман, он заявил, что она беременна, и выиграл время. Заслужив некоторое право жениться на ней, он и женился, несмотря на их бедность. Их дети, как и все дети любви, получили в наследство лишь дивную красоту матери – дар подчас роковой, если ему сопутствует нищета. Обманутые надежды, непосильный труд, вечные заботы, угнетавшие г-жу Шардон, не пощадили ее красоты, а неотвязная нужда изменила привычки; но несчастье не сломило стойкости матери и детей. Бедная вдова продала аптеку, помещавшуюся на Главной улице Умо, самого большого предместья Ангулема. Деньги, вырученные от продажи аптеки, обеспечили ренту в триста франков, но этой суммы было недостаточно даже для нее одной; однако ж мать с дочерью примирились со своим положением и без ложного стыда взяли за работу по найму. Мать ухаживала за роженицами, и мягкость ее обхождения была причиной того, что г-жу Шардон предпочитали другим в богатых домах, где она и жила, ничего не стоя детям, да притом еще зарабатывала двадцать су в день. Желая уберечь сына от горестного сознания, что его мать занимает такое низкое положение в обществе, она стала именоваться г-жой Шарлоттой. Нуждавшиеся в ее услугах обращались к г-ну Постэлю, прежнему г-на Шардона. Сестра Люсьена работала у почтенной женщины, которая пользовалась уважением в Умо, их соседки, г-жи Приер, принимавшей в стирку тонкое белье, и зарабатывала около пятнадцати су в день. Она была старшей над мастерицами и занимала в прачечной как бы особое положение, что несколько подымало ее над средой гризеток. Скудные плоды их работы вместе с рентой г-жи Шардон в триста ливров составляли около восьмисот франков в год, на которые всем троим приходилось жить, одеваться и платить за квартиру. При самой строгой бережливости семье было недостаточно этой суммы, почти полностью уходившей на одного Люсьена. Г-жа Шардон и ее дочь Ева верили в Люсьена, как верила в Магомета его жена; в своем самопожертвовании во имя его будущего они не знали предела. Бедная семья жила в Умо, в квартире, снятой за чрезвычайно скромную плату у преемника г-на Шардона и помещавшейся в глубине заднего двора, над лабораторией. Люсьен занимал убогую комнату в мансарде. Под влиянием отца, пламенного почитателя естественных наук, увлекшего и его

на этот путь, Люсьен стал одним из блестящих воспитанников Ангулемского коллежа, где он обучался в третьем классе, когда Сешар кончал курс.

Когда случай свел двух школьных товарищей, Люсьен, устав пить из грубой чаши нищеты, был накануне одного из тех решений, к которым прибегают в двадцать лет. Сорок франков в месяц, великодушно предложенные ему Давидом, вызвавшимся обучить его ремеслу фактора, хотя фактор был ему совершенно не нужен, спасли Люсьена от отчаянья. Узы школьной дружбы, теперь возобновленной, вскоре окрепли благодаря сходству их судьбы и различию натур. Они были одарены многими талантами и тем светлым умом, который возносит человека на высоты духа, и сознавали, что оба брошены на дно общества. Несправедливость судьбы связала их крепкими узами. Притом они оба разными путями пришли к поэзии. Предназначавшийся к умственной деятельности и высоким трудам в области естественных наук, Люсьен пламенно мечтал о литературной славе; между тем Давид, натура созерцательная и предрасположенная к поэзии, чувствовал влечение к точным наукам. Обмен ролями породил некое духовное братство. Люсьен не замедлил поделиться с Давидом широкими замыслами, которые унаследовал от отца, мечтавшего о приложении науки к промышленности, а Давид указал Люсьену новые пути, которыми тот должен войти в литературу, чтобы составить себе имя и состояние. Дружба молодых людей в короткое время обратилась в страстную привязанность, какая только может возникнуть на исходе юности. Вскоре Давид увидел прекрасную Еву и влюбился в нее, как влюбляются натуры, склонные к мечтательности и созерцанию. Слова литургии: «*Et nunc et semper et in secula seculorum*»⁵ – девиз возвышенных безвестных поэтов, чьи великолепные эпические поэмы зарождаются и погибают в двух любящих сердцах. Когда влюбленный проник в тайну надежд, возлагаемых на прекрасное поэтическое дарование Люсьена его матерью и сестрой, когда их слепое поклонение передалось и ему, он понял, как сладостна близость с возлюбленной, если разделяешь с нею ее жертвы и упования. В Люсьене Давид обрел брата. Подобно тому, как крайние правые желают быть больше роялистами, чем сам король, так Давид превзошел и мать и сестру верой в гениальность Люсьена и баловал его, как мать балует ребенка. Однажды, когда они испытывали особенно острую нужду в деньгах, связывавшую им руки, и, подобно всем молодым людям, обсуждали различные способы быстрого обогащения и тщетно отрясали все плодовые деревья, уже обобранные теми, кто пришел ранее, Люсьен вспомнил, что его отца занимали две задачи: г-н Шардон говорил, что можно вдвое понизить стоимость сахара, применив при его производстве один новый химический состав, и вдвое удешевить бумагу, употребив вывезенное из-за океана дешевое растительное сырье, сходное с тем сырьем, которым пользуются китайцы. Давид, понимая значение последнего вопроса, уже обсуждавшегося у Дидо, ухватился за эту мысль, сулившую богатство, и стал смотреть на Люсьена как на благодетеля, перед которым он вечно будет в неоплатном долгу.

Всякому понятно, как трудно было молодым людям, увлеченным высокими идеями и жившим внутренней жизнью, управлять типографией. Далеко им было до братьев Куэнте – печатников, книгоиздателей епископата, владельцев «Шарантского листка», отныне единственной газеты в департаменте, – которым их типография приносила пятнадцать – двадцать тысяч дохода: типография Сешара-сына едва выручала триста франков в месяц, из которых надо было платить жалованье фактору и Марион, вносить налоги, оплачивать помещение; Давиду оставалось не более сотни франков в месяц. Люди деятельные и предприимчивые приобрели бы новые шрифты, купили бы металлические станки, привлекли бы парижских книгоиздателей, печатая их заказы по сходной цене; но хозяин и фактор, поглощенные своими мечтами, довольствовались заказами немногих оставшихся клиентов. Братья Куэнте наконец разгадали нрав и склонности Давида и уже не порочили его; напротив, деловая сметливость подсказала им, что в их интересах сохранить эту захиревшую типографию и поддерживать

⁵ И ныне, и присно, и во веки веков (лат.).

ее брэнное существование, лишь бы она не попала в руки какого-нибудь опасного соперника; они даже стали направлять туда мелкие заказы, так называемые акцидентные работы. Итак, Давид Сешар, сам того не подозревая, обязан был своим существованием, в смысле коммерческом, единственно дальновидности своих конкурентов. Куэнте, чрезвычайно довольные *манерой* Давида, как они выражались, действовали, казалось, в отношении Давида со всей прямоотой и честностью, но на самом деле они поступали, как компании почтовых сообщений, которые создают себе мнимую конкуренцию во избежание действительной.

Наружный вид дома Сешара находился в соответствии с отвратительной скупостью, царившей в нем, ибо старый Медведь ни разу его не подновлял. Дождь, солнце, ненастье всех четырех времен года сообщили наружной двери сходство с корявым древесным стволом – настолько она покособилась, была изборождена трещинами. Фасад, нескладно выведенный из кирпича и камня, казалось, накренился под тяжестью старой черепичной кровли, обычной на юге Франции. Окна с прогнившими рамами были снабжены, как водится в этих краях, тяжелыми ставнями с надежными болтами. Трудно было найти в Ангулеме дом более ветхий, державшийся лишь крепостью цемента. Вообразите мастерскую, освещенную с двух концов, темную посредине, стены, испещренные объявлениями, потемневшие внизу, оттого что рабочие за тридцать лет изрядно залоснили их своими спинами, ряды веревок под потолком, кипы бумаги, допотопные станки, груды камней для прессования смоченной бумаги, ряды наборных касс и в глубине две клетки, где сидели, каждый у себя, хозяин и фактор, и вы поймете, как жили оба друга.

В 1821 году, в первые дни мая месяца, Давид и Люсьен стояли подле широкого окна, выходившего во двор; было около двух часов пополудни, и четверо-пятеро рабочих ушли из мастерской обедать. Заметив, что ученик запирает наружную дверь с колокольчиком, хозяин повел Люсьена во двор, словно запах бумаги, краски, станков и старого дерева был ему невыносим. Они сели в беседке, откуда могли видеть каждого, кто шел в мастерскую. Лучи солнца, игравшие в листве беседки из виноградных лоз, ласкали поэтов, окружая их сиянием, словно ореолом. Несходство этих двух характеров и двух обликов, очевидное при их сопоставлении, проступало в этот миг так ярко, что могло бы пленить кисть великого живописца. Давид был того мощного сложения, каким природа наделяет существа, предназначенные для великой борьбы, блистательной или сокровенной. Широкая грудь и могучие плечи были в гармонии с тяжелыми формами всего его тела. Толстая шея служила опорой для головы с шапкой густых черных волос, обрамлявших смуглое, цветущее, полное лицо, которое при первом взгляде напоминало лица каноников, воспетых Буало, но, всмотревшись, вы открыли бы в складе толстых губ, в ямке подбородка, в лепке крупного широкого носа с впадинкой на конце – и особенно в глазах! – неугасимый огонь единой любви, прозорливость мыслителя, пламенную печаль души, способной охватить горизонт от края и до края, проникнув во все его извивы, и легко пресыщающейся самыми высокими наслаждениями, едва на них падает свет анализа. Если это лицо и озарялось блистанием гения, готового воспарить, все же близ вулкана приметен был и пепел: надежда угасала от глубокого сознания своего общественного небытия, в которое безвестное происхождение и недостаток средств ввергает столько недюжинных умов. Рядом с бедным печатником, которому претило его занятие, все же столь родственное умственному труду, рядом с этим Силеном, искавшим опоры в самом себе и пившим медленными глотками из чаши познания и поэзии, чтобы в опьянении забыть о горестях провинциальной жизни, стоял Люсьен в пленительной позе, избранной ваятелями для индийского Вакха. В чертах этого лица было совершенство античной красоты: греческий лоб и нос, женственная бархатистость кожи, глаза, казалось, черные – так глубока была их синева, – глаза, полные любви и чистотой белка не уступавшие детским глазам. Эти прекрасные глаза под дугами бровей, точно рисованными китайской тушью, были осенены длинными каштановыми ресницами. На щеках блеснул шелковистый пушок, по цвету гармонизировавший с волнистыми светлыми воло-

сами. Несравненной нежностью дышала золотистая белизна его висков. Незыблемое благородство было запечатлено на коротком, округлом подбородке. Улыбка опечаленного ангела блуждала на коралловых губах, особенно ярких из-за белизны зубов. У него были руки аристократа, руки изящные, одно движение которых заставляет мужчин повиноваться, а женщины любят их целовать. Люсьен был строен, среднего роста. Взглянув на его ноги, можно было счесть его за переодетую девушку, тем более что строение бедер у него, как и у большинства лукавых, чтобы не сказать коварных, мужчин было женское. Эта примета, редко обманывающая, оправдывалась и на Люсьене; случалось, что, критикуя нравы современного общества, он, увлекаемый беспокойным умом, в суждениях своих вступал на путь дипломатов, по своеобразной развращенности полагающих, что успех оправдывает все средства, как бы постыдны они ни были. Одно из несчастий, которым подвержены люди большого ума, – это способность невольно понимать все, как пороки, так и добродетели.

Оба друга судили общество тем более неумолимо, что они занимали в нем самое низкое место, ибо люди непризнанные мстят миру за унижительность своего положения высокомерием суждений. И отчаяние их было тем горше, чем стремительнее они шли навстречу неизбежной судьбе. Люсьен много читал, многое сравнивал. Давид много думал, о многом размышлял. Несмотря на свое крепкое, пышущее здоровьем тело, печатник был человек меланхолического и болезненного душевного склада: он сомневался в себе, между тем как Люсьен, одаренный умом смелым, но непостоянным, был отважен, вопреки своему слабому, почти хилому, но полному женственной прелести сложению. Люсьен был по природе истым гасконцем, дерзким, смелым, предприимчивым, склонным преувеличивать доброе и преуменьшать дурное; его не страшил проступок, если это сулило удачу, и он не гнушался порока, если тот служил ступенью к цели. Наклонности честолюбца все же умерялись прекрасными мечтаниями пылкой юности, всегда подсказывающей благородные поступки, к которым прежде всего и прибегают люди, влюбленные в славу. Он покамест боролся лишь со своими желаниями, а не с тяготами жизни, со своими наклонностями, а не с человеческой низостью, являющей гибельный пример для неустойчивых натур. Давид, глубоко очарованный блестящим умом Люсьена, восторгался им, хотя ему и случалось предостерегать поэта от заблуждений, в которые тот впадал по своей галльской горячности. Этот честный человек по характеру был застенчив, вопреки своему крепкому телосложению, но не лишен настойчивости, свойственной северянам. Встречая препятствия, он твердо решал преодолеть их и не падал духом; и если ему была свойственна непоколебимость добродетели, подлинно апостольской, все же его стойкость сочеталась с неиссякаемой снисходительностью. В этой уже давней дружбе один любил до идолопоклонства, и это был Давид. Люсьен повелевал, словно женщина, уверенная, что она любима. Давид повиновался с радостью. Физическая красота давала Люсьену право первенства, и Давид признавал превосходство друга, считая себя неуклюжим тяжкодумом.

«Волу суждено на поле трудиться, беспечная жизнь уготована птице, – говорил про себя типограф. – Вол – это я, орел – Люсьен».

Итак, прошло почти три года с той поры, как друзья связали свои судьбы, столь блистательные в мечтах. Они читали великие произведения, появившиеся на литературном и научном горизонте после восстановления мира: творения Шиллера, Гёте, лорда Байрона, Вальтера Скотта, Жан-Поля, Берцелиуса, Дэви, Кювье, Ламартина и других. Они загорались от этих очагов мысли, они упражнялись в незрелых и заимствованных сочинениях, то отбрасывая работу, то сызнова принимаясь за нее с горячностью. Они трудились усердно, не истощая неисчерпаемых сил молодости. Одинаково бедные, но вдохновляемые любовью к искусству и науке, они забывали о повседневных нуждах в стремлении заложить основы грядущей своей славы.

– Люсьен, знаешь, что я получил из Парижа? – сказал типограф, вынимая из кармана томик в восемнадцатую долю листа. – Послушай!

Давид прочел, как умеют читать поэты, идиллию Андре Шенье, озаглавленную «Неэра», затем идиллию «Больной юноша», потом элегию о самоубийце, еще одну, в античном духе, и два последних «Ямба».

– Так вот что такое Андре Шенье! – восклицал Люсьен. – Он внушает отчаяние, – повторил он в третий раз, когда Давид, чересчур взволнованный, чтоб продолжать чтение, протянул ему томик стихов. – Поэт, обретенный поэтом, – сказал он, взглянув на имя, поставленное под предисловием.

– И Шенье, написав такие стихи, – заметил Давид, – мог думать, что не создал ничего достойного печати!

Люсьен в свой черед прочел эпический отрывок из «Слепца» и несколько элегий. Когда он дошел до строк:

Если это не счастье, так что же? –

он поцеловал книгу, и друзья заплакали, потому что они оба любили до самозабвения. Виноградная ливья расцвела, стены старого дома, покосившиеся, с выщербленным камнем, изборожденные трещинами, приняли пластические формы, где канелюры, рустика, барельефы сочетались с фигурным орнаментом какой-то волшебной архитектуры. Фантазия рассыпала цветы и рубины в мрачном дворике. Камилла Андре Шенье стала для Давида его обожасмой Евой, а для Люсьена – знатной дамой, о которой он вздыхал. Поэзия отряхнула величественные полы своей звездной мантии над мастерской, где, казалось, паясничали типографские Обезьяны и Медведи. Пробило пять; но друзья не чувствовали ни голода, ни жажды; жизнь была для них золотым сном, все сокровища земли лежали у их ног. Для них открылся на небосводе тот голубой просвет, на который указывает перст Надежды тем, у кого жизнь тревожна и кому она, подобно сирене, напевает: «Спешите, летите, спасайтесь от зол там, в лазурной, серебряной, золотой дали!..» В это время стеклянная дверь отворилась и ученик, по имени Серизе, парижский мальчишка, привезенный Давидом в Ангулем, вышел из мастерской во двор в сопровождении незнакомца, которому он указал на двух друзей, и тот, раскланиваясь, подошел к ним.

– Сударь, – сказал он Давиду, извлекая из кармана толстую тетрадь, – я желал бы напечатать вот этот труд. Не откажите в любезности сказать, во что это обойдется.

– Мы, сударь, не печатаем такие солидные рукописи, – отвечал Давид, не взглянув на тетрадь. – Обратитесь к господам Куэнте.

– Но у нас есть очень красивый шрифт, вполне подходящий, – возразил Люсьен, взяв рукопись. – Прошу вас, зайдите завтра и оставьте нам вашу рукопись. Мы подсчитаем, во что обойдется напечатать ее.

– Не с господином ли Люсьеном Шардоном имею честь?..

– Да, сударь, – отвечал фактор.

– Я счастлив, сударь, – сказал автор, – познакомиться с молодым поэтом, которому прочат блестящую будущность. Мне посоветовала зайти сюда госпожа де Баржетон.

Люсьен, услышав это имя, покраснел и пробормотал несколько слов, чтобы выразить благодарность г-же де Баржетон за ее любезное внимание. Давид заметил румянец и смущение друга и отошел, предоставив ему беседовать с провинциальным дворянином, автором статьи о разведении шелковичных червей, из тщеславия желавшим ее напечатать, чтобы его коллеги по Земледельческому обществу могли ее прочесть.

– Послушай, Люсьен, – сказал Давид, когда дворянин ушел, – уж не влюблен ли ты в госпожу де Баржетон!

– Без памяти!

– Но живи она в Пекине, а ты в Гренландии, расстояние разобщило бы вас менее, нежели сословные предрассудки.

– Воля любящих все побеждает, – сказал Люсьен, потупя глаза.

– Ты забудешь нас, – отвечал робкий обожатель прекрасной Евы.

– Напротив! Как знать, не пожертвовал ли я ради тебя возлюбленной? – вскричал Люсьен.

– Что ты хочешь сказать?

– Вопреки любви, вопреки интересам, побуждающим меня посещать ее дом, я сказал ей, что впредь не переступлю ее порога, ежели человек, превосходящий меня талантами, с большим будущим, ежели Давид Сешар, мой брат, мой друг, не будет у нее принят. Дома меня ожидает ответ. И пускай вся здешняя знать приглашена нынче к госпоже де Баржетон слушать мои стихи, ежели ответ будет отрицательный, нога моя туда не ступит.

Давид крепко пожал Люсьену руку, смахнул слезу. Пробило шесть.

– Ева, верно, тревожится. Прощай! – вдруг сказал Люсьен.

Он ушел, оставив Давида во власти волнений, столь остро ощущаемых лишь в этом возрасте и особенно в том положении, в каком находились два юных лебедя, которым провинциальная жизнь еще не подрезала крыльев.

– Золотое сердце! – вскричал Давид, провожая взглядом Люсьена, покуда тот не скрылся за дверью мастерской.

Люсьен возвращался в Умо по прекрасному бульвару Болье, через улицу Минаж и ворота Сен-Пьер. Если он избрал столь долгий путь, вы поймете, что, стало быть, тот путь лежал мимо дома г-жи де Баржетон. Он испытывал такое блаженство, проходя мимо окон этой женщины, что тому два месяца, как изменил кратчайшему пути в Умо через ворота Пале.

Под купами деревьев Болье он задумался о том расстоянии, которое разделяет Ангулем и Умо. Местные нравы воздвигли нравственные преграды, труднее преодолимые, чем крутые склоны, по которым спускался Люсьен. Юный честолюбец, недавно получивший доступ в особняк Баржетонов, перекинув воздушный мост славы между городом и предместьем, тревожился, ожидая приговора своей повелительницы, как фаворит, рискнувший превысить свою власть, опасается немилости. Слова эти должны показаться странными тем, кому не доводилось наблюдать особенности нравов в городах, которые делятся на верхний город и нижний; но тут необходимо войти в некоторые объяснения, обрисовывающие Ангулем, тем более что они позволят понять г-жу де Баржетон, одно из главных действующих лиц нашей истории.

Ангулем – древний город, построенный на вершине скалы, которая напоминает сахарную голову и высится над лугами, где течет Шаранта. Скала примыкает со стороны Перигора к узкому плоскогорью, которое она круто замыкает собою близ дороги из Парижа в Бордо, образуя своеобразный мыс, очерченный тремя живописными лощинами. О значении этого города в эпоху религиозных войн свидетельствуют земляной вал, ворота и развалины крепости на островерхой скале. По своему расположению он некогда представлял собою стратегический пункт, равно важный и для католиков, и для кальвинистов; но то, что встарь было его силой, ныне составляет его слабое место: крепостные валы и крутые склоны, мешая ему расти в сторону Шаранты, обрекли его на самый губительный застой. Во времена, о которых повествует наша история, правительство пыталось расширить город в сторону Перигора, проложив улицы вдоль плоскогорья, выстроив там здания префектуры, морского училища, военных учреждений. Но торговля уже ранее избрала иное место. Предместье Умо издавна разрослось, как семейство грибов, у подножия скалы и по берегам реки, вдоль которой пролегает большая дорога из Парижа в Бордо. Всем известны знаменитые ангулемские писчебумажные фабрики, обосновавшиеся три века назад на берегах Шаранты и ее притоков, богатых водопадами. Государство построило в Рюэле свой самый крупный оружейный завод для вооружения флота. Транспортные конторы, почта, постоянные дворы, каретные мастерские, компании почтовых дилижансов, все промыслы, живущие от проезжей дороги и реки, сосредоточились у

подножия Ангулема, избегнув тем самым трудностей подъема в гору. Естественно, что кожевенные заводы, прачечные, всякие предприятия, нуждающиеся в воде, облюбовали берега Шаранты; затем винные погреба, склады сырья, доставлявшегося водным путем, все посреднические конторы скучились вдоль речных берегов. Итак, предместье Умо выросло в богатый промышленный город, второй Ангулем, которому завидовал Ангулем верхний, где остались присутственные места, управление епархией, суд, аристократия. Однако ж Умо, несмотря на свою деловитость и возрастающее значение, все же был только придатком к городу Ангулему. Наверху – знать и власть, внизу – купечество и деньги: два постоянно и повсюду враждующих общественных слоя; и трудно решить, который из двух городов питал большую ненависть к сопернику. Реставрация за девять лет своего существования обострила положение, достаточно мирное во времена Империи. Большинство домов в верхнем Ангулеме занимают либо дворянские семьи, либо старинные буржуазные фамилии, которые живут доходами и составляют своего рода коренное население, куда чужеземцам доступ закрыт. Надобно было прожить тут два столетия или породниться с местной родовитой семьей, чтобы потомку выходцев из соседней провинции довелось проникнуть в этот замкнутый круг, и все же во мнении коренных жителей он вечно будет пришельцем. Префекты, начальники управления государственными сборами, административные власти, сменявшиеся за последние сорок лет, тщетно пытались приручить эти старинные семьи, гнездившиеся на своей скале, как нелюдимые вороны: местная знать посещала их балы и обеды, но принимать у себя упорно отказывалась. Насмешливые, злоязычные, завистливые, скупые, эти семьи рождаются между собою и, образуя замкнутую касту, не дают никому ни входа, ни выхода; им неведомы измышления современной роскоши; для них послать детей в Париж – все равно что обречь их на гибель. Такая чрезмерная осторожность рисует отсталые нравы и обычаи этих семейств, зараженных тупым роялизмом, скорее закоснелых в ханжестве, нежели религиозных, и столь же далеких от жизни, как их город и его скала. Ангулем, однако ж, славится в ближайших провинциях как город, где получают хорошее воспитание. Соседние города посылают своих девиц в ангулемские пансионы и монастыри. Легко понять, насколько кастовый дух влияет на чувства, разъединяющие Ангулем и Умо. Купечество богато, дворянство обычно бедно. Они мстят друг другу презрением, равным с обеих сторон. Ангулемские горожане вовлечены в эти распри. Купец из верхнего города говорит с неподражаемым выражением о торговце из предместья: «Он из Умо!» Предназначав дворянству особое положение во Франции и подав ему надежды, не осуществимые без общего переворота, Реставрация нравственно разъединила Ангулем и Умо более, нежели разъединило их расстояние физическое. Дворянское общество, связанное в то время с правительственными кругами, заняло тут положение более исключительное, чем где-либо во Франции. Житель Умо напоминал в достаточной степени парию. Отсюда – та глухая и глубокая ненависть, что придала грозное единодушное восстание 1830 года и разрушила основы прочного общественного строя во Франции. Спесь придворной знати отвратила от трона провинциальное дворянство, равно как последнее отвратило от себя буржуазию, постоянно уязвляя ее тщеславие. Итак, появление в гостинице г-жи де Баржетон сына аптекаря, обывателя из Умо, было своего рода революцией. Кто в том повинен? Ламартин и Виктор Гюго, Казимир Делавинь и Каналис, Беранже и Шатобриан, Вильмен и г-н Эньян, Суме и Тиссо, Этьенн и Давриньи, Бенжамен Констан и Ламенне, Кузен и Мишо – короче, и старые и молодые литературные знаменитости, как либералы, так и роялисты. Г-жа де Баржетон любила искусство и литературу – причуда вкуса, сумасбродство, о котором открыто сокрушался весь Ангулем и которое необходимо объяснить, обрисовав жизнь этой женщины, рожденной для славы, но по вине роковых обстоятельств оставшейся в неизвестности и своим влиянием на Люсьена предопределившей его судьбу.

Господин де Баржетон был правнуком бордоского синдика, по имени Миро, возведенного в дворянство при Людовике XIII за долголетнюю службу. При Людовике XIV его сын, ставший Баржетоном, был офицером дворцовой стражи и так выгодно женился, что при Людо-

вике XV его сын именовался уже просто г-ном де Баржетоном. Этот г-н де Баржетон, внук г-на Миро-синдика, в такой степени вошел в роль истого дворянина, что промотал все родовое состояние и тем самым положил предел благоденствию своей семьи. Два его брата, двоюродные деды нынешнего Баржетона, опять занялись торговлей, и фамилия Миро по сию пору встречается среди бордоских купцов. Так как земля Баржетонов в Ангумуа, находившаяся в ленной зависимости от феодального удела Ларошфуко, равно как и ангулемский дом, именуемый *дворцом* Баржетонов, были неотчуждаемой собственностью, внук г-на де Баржетона, по прозвищу *Мот*, унаследовал оба эти владения. В 1789 году он лишился права взимать феодальные поборы и жил лишь доходом с земли, приносившей ему около десяти тысяч ливров в год. Если бы его дед последовал славному примеру Баржетона I и Баржетона II, то Баржетон V, которого подобало бы именовать *Немым*, был бы маркизом де Баржетоном, он породнился бы с каким-либо знатным родом и, как многие, стал бы герцогом и пэром, между тем в 1805 году он счел весьма для себя лестным брак с девицей Мари-Луизой-Анаис де Негрпелис, дочерью дворянина, который был всеми забыт в глуши своего имени, хотя и принадлежал к младшей ветви одного из самых древних родов южной Франции. Один из Негрпелисов был в числе заложников Людовика Святого; притом глава старшей ветви носил славное имя д'Эспаров, приобретенное им при Генрихе IV благодаря браку с наследницей этого рода. Названный же нами дворянин, младший представитель младшей ветви, жил на доходы с именины жены, небольшого поместья близ Барбезье, в котором он хозяйничал на славу, сам продавал пшеницу на рынке, сам выгонял водку, пренебрегая насмешками, копил деньги и время от времени округлял свои угоды. Благодаря стечению обстоятельств, достаточно удивительных в глухой провинции, у г-жи де Баржетон развился вкус к музыке и литературе. Во время революции некий аббат Ниолан, лучший ученик аббата Роз, укрылся в маленьком замке д'Эскарба со всем своим композиторским багажом. Он щедро оплатил гостеприимство старого дворянина, занявшись воспитанием его дочери Анаис, или, как ее называли, Наис; и если бы не этот случай, девочка была бы предоставлена самой себе или, что было бы большим несчастьем, какой-нибудь распутной служанке. Аббат оказался не только музыкантом, но и знатоком литературы, он владел итальянским и немецким. Итак, он обучил девицу де Негрпелис этим двум языкам и контрапункту; он познакомил ее с выдающимися произведениями французской, итальянской и немецкой литературы, разучивал с ней творения всех великих композиторов. Наконец, чтобы заполнить досуг и одиночество, на которое их обрекли политические события, он обучил ее греческому и латинскому языкам, да и из естественных наук помог усвоить начатки. Присутствие матери ничего не изменило в этом мужском воспитании, которое получила девушка, и без того чересчур независимая благодаря жизни в деревне. Аббат Ниолан, натура поэтическая и восторженная, был особенно примечателен тем артистическим складом ума, который, обладая многими похвальными качествами, возвышается над мещанскими предрассудками свободой суждения и широтой взглядов. Если свет и прощает дерзновенную смелость мысли ради ее своеобразия и глубины, то в частной жизни это свойство, порождающее уклонение от принятого, могло быть признано вредоносным. Аббат не был лишен темперамента, его идеи действовали заразительно на юную девицу, чья восторженность, обычная в этом возрасте, еще усиливалась благодаря деревенскому уединению. Аббат Ниолан сообщил своей ученице присущую ему независимость мысли и смелость суждений, не подумав о том, что эти качества, столь нужные мужчине, обратятся в недостаток у женщины, предназначенной к скромной участи матери семейства. Хотя аббат постоянно внушал своей ученице, что учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной просвещенности человека, однако же девица де Негрпелис преисполнилась высокого о себе мнения и прониклась великим презрением к человечеству. Окруженная людьми ниже ее стоящими и всегда готовыми ей услужить, она усвоила надменность знатных дам, не позаимствовав лукавой прелести их обхождения. Избалованная бедным аббатом, который во всем льстил ее тщеславию, ибо он восхищался в ней самим собою, как

автор восхищается своим творением, она, к несчастью, не встречала никого, с кем могла бы себя сравнить, и потому не имела случая составить о себе правильное мнение. Отсутствие общества – вот отрицательная сторона жизни в деревне. Не имея нужды приносить маленькие жертвы в угоду требованиям хорошего тона, как в одежде, так и в манере держать себя, привыкаешь к распущенности. А это уродует и дух, и тело. Вольнодумство девицы де Негрпелис, не стесненное светскими условностями, проявлялось и в ее манерах, и в ее наружности: у нее был слишком вольный вид, может быть и привлекательный с первого взгляда благодаря его своеобразию, но это к лицу лишь искательницам приключений. Таким образом, воспитание Наис, шероховатости которого сгладились бы в высшем обществе, в Ангулеме грозило представить ее в смешном виде, как только поклонники откажутся боготворить недостатки, очаровательные лишь в юности. Что касается до г-на де Негрпелиса, он пожертвовал бы всеми книгами дочери, если бы этим можно было спасти заболевшего быка: он был так скуп, что не дал бы ей и двух лишних лиаров сверх дохода, на который она имела право, хотя бы речь шла о какой-либо ничтожной затрате, совершенно необходимой для ее образования. Аббат умер в 1802 году, до замужества своей дорогой питомицы, замужества, от которого он, несомненно, ее предостерег бы. После смерти аббата дочь оказалась большой обузой для старого дворянина. Он почувствовал себя чересчур слабым, чтобы выдержать борьбу, которая неминуемо возникла бы из-за его собственной скупости и независимого нрава праздной девицы. Как все юные особы, не пожелавшие идти проторенной дорожкой, предуказанной женщине, Наис составила собственное мнение о браке и ничуть к нему не стремилась. Ей претила мысль подчинить свой ум и свою личность одному из тех мужчин, незначительных и отнюдь не блестящих доблестью, с какими ей доводилось встречаться. Она желала повелевать, а принуждена была повиноваться. Она, ни минуты не колеблясь, бежала бы с возлюбленным, лишь бы не подчиниться грубым прихотям человека, который не относился бы бережно к ее вкусу. Г-н де Негрпелис все же был дворянином и опасался неравного брака. Как многие отцы, он рассудил за благо выдать дочь замуж не столько ради нее, сколько ради собственного спокойствия. Он мечтал о титулованном, а то и простом дворянине недалекого ума, неспособном сутяжничать из-за отчета по опеке, каковой он полагал представить дочери, о человеке, достаточно ограниченном и слабовольном, чтобы Наис могла жить, как ей вздумается, и достаточно бескорыстным, чтобы жениться на ней без приданого. Но где найти человека, равно удобного и для отца и для дочери? Такой человек был бы не зятем, а сущим кладом. Исходя из интересов своих и дочерних г-н де Негрпелис стал присматриваться к женихам у себя в провинции, и г-н де Баржетон показался ему единственным, кто отвечал всем его требованиям. Г-н де Баржетон, мужчина лет сорока, сильно потрепанный любовными похождениями в молодости, славился чрезвычайным скудоумием; но у него было достаточно здравого смысла, чтобы вести свои дела, и достаточно светского лоску, чтобы, вращаясь в ангулемском высшем обществе, не попасть впросак и не натворить глупостей. Г-н де Негрпелис начистоту разъяснил дочери, какова отрицательная ценность образцового мужа, которого он нашел для нее, и дал понять, какие выгоды она может извлечь из этого брака для своего собственного счастья: она будет носить фамилию Баржетонов и получит право на их древний герб: *четверочастный щит; в первой части по золотому полю три червленых оленьих головы вправо, две над одной; в четвертой части по золотому полю три черных бычьих головы впрямь, одна над двумя; во второй и третьей частях по шести серебряных и лазоревых поясов; лазоревые пояса обременены шестью раковинами – три, две и одна*. Обзаведясь таким спутником жизни, она может распорядиться по своему вкусу своей судьбой, будучи защищена законом и поддержана теми связями, которые ей, безусловно, обеспечены в Париже ее умом и красотой. Наис предвкушала удовольствия подобной свободы. Г-н де Баржетон полагал, что делает блестящую партию, ибо рассчитывал, что тесть не замедлит оставить ему в наследство имя, которое тот расширял с такой любовью, но в то время казалось, что скорее г-ну де Негрпелис доведется сочинять эпитафию своему зятю.

В ту пору г-же де Баржетон было тридцать шесть лет, а ее мужу пятьдесят восемь. Различие возрастов поражало особенно неприятно потому, что де Баржетона можно было счесть за семидесятилетнего старика, меж тем как его жена могла безнаказанно разыгрывать из себя молодую девушку, одеваться в розовые платья и причесываться по-девичьи. Хотя состояние их приносило не свыше двенадцати тысяч ливров годовой ренты, они причислялись к шести самым богатым семьям старого города, исключая купцов и чиновников. Необходимость, в ожидании наследства, ухаживать за отцом, чтобы затем переселиться в Париж, – а старик пережил зятя! – принудила г-жу де Баржетон жить в Ангулеме, где блистательные качества ума и нетронутые сокровища, таившиеся в сердце Наис, обречены были увядать бесплодно и со временем стать смешными. И точно, наши смешные стороны рождаются обычно из прекрасных чувств, из достоинств или способностей, доведенных до крайности. Гордость, не умеренная привычками большого света, перерождается в чопорность, разменивается попусту, вместо того чтобы приобретать величие в кругу возвышенных чувств. Восторженность – достоинство из достоинств, – порожающая святых, вдохновляющая на тайное самопожертвование и поэтические взлеты, обращается в плену провинциальной жизни в напыщенность. Вдали от центра, где блистают великие умы, где самый воздух насыщен мыслью, где все постоянно обновляется, старомодной становится даже образованность, вкус портится, как стоячая вода. Страсти, не находя выхода, мельчают, возвеличивая малое. Вот причина скупости и сплетен, отравляющих жизнь в провинции! Узость мысли и мещанство в быту быстро прививаются самой утонченной натуре. Так погибают мужчины, недюжинные от природы, женщины, обещавшие стать очаровательными, пройди они школу большого света и обогатись духовно под влиянием возвышенных умов. Г-жа де Баржетон бралась за лиру по самому ничтожному поводу, не отличая поэзии для себя от поэзии для общества. Однако ж есть неизъяснимые чувства, их надобно таить в себе. Конечно, солнечный закат – величественная поэма, но не смешна ли женщина, описывающая его в пышных словах людям, лишенным воображения? Есть радости, которыми могут наслаждаться только поэт с поэтом, сердце с сердцем. У нее была слабость к вычурным фразам, наспигованным высокопарными словами и остроумно именуемым *тартинками* на жаргоне журналистов, которые каждое утро угощают ими своих подписчиков, проглатывающих их, как бы они ни были неудобоваримы. Она чересчур злоупотребляла превосходной степенью, и в ее речах незначительные вещи принимали чудовищные размеры. В ту пору она уже стала все *типизировать, индивидуализировать, синтезировать, драматизировать, романтизировать, анализировать, поэтизировать, прозаизировать, ангелизировать, неологизировать, трагедизировать*, у нее была какая-то *титаномания*; что делать, приходится порой насиловать язык, чтобы изобразить новейшие причуды, усвоенные иными женщинами! Впрочем, мысль ее воспламенялась, как и ее речь. И сердце ее и уста пели дифирамбы. Она трепетала, она замирала, она приходила в восторг решительно от всего: и от самопожертвования какой-нибудь кармелитки, и от казни братьев Фоше, от «Ипсибоэ» виконта д'Арленкура и от «Анаконды» Льюиса, от побега Лавалета и от отваги своей подруги, криком обратившей в бегство воров. Для нее все было возвышенным, необычайным, странным, божественным, чудесным. Она воодушевлялась, гневалась, унывала, окрылялась, опускала крылья, взирала то на небо, то на землю; глаза ее источали слезы. Она растрчивала жизнь на вечные восхищения и чахла, снедаемая неизъяснимым презрением ко всему миру. Она понимала янинского пашу, она желала помериться с ним силами в его серале, ее пленяла участь женщины, зашитой в мешок и брошенной в воду. Она завидовала леди Эстер Стенхоп, этому синему чулку пустыни. Она мечтала постричься в монахини ордена Святой Камиллы и умереть в Барселоне от желтой лихорадки, ухаживая за больными: вот высокая и достойная судьба! Короче, она жаждала всего, что не было прозрачным источником ее жизни, скрытым в густых травах. Она обожала лорда Байрона, Жан-Жака Руссо, все поэтические и драматические существования. Она приберегала слезы для всех несчастий и фанфары для всех побед. Она сочувствовала Наполеону в изгнании, она сочув-

ствовала Мехмету-Али, истреблявшему тиранов Египта. Короче, она окружала неким ореолом гениальных людей и воображала, что они питаются ароматами и лунным светом. Многим она казалась одержимой безумием, неопасным для окружающих; но проницательный наблюдатель во всех этих странностях приметил бы обломки великолепной любви, рухнувшей, едва возникнув, развалины небесного Иерусалима – словом, любовь без возлюбленного. Так оно и было. Историю восемнадцати лет замужества г-жи де Баржетон можно рассказать в немногих словах. Некоторое время она жила своим внутренним миром и смутными надеждами. Затем, поняв, что жизнь в Париже, о которой она вздыхала, для нее невозможна, ибо ей не по средствам, она стала присматриваться к окружающим и ужаснулась своего одиночества. Вокруг нее не было никого, кто мог бы вдохновить ее на те безумства, каким предаются женщины, побуждаемые отчаянием, причина которого кроется в жизни безысходной, пустой, бесцельной. Она ни на что не могла надеяться, даже на случай, ибо бывают жизни без случайностей. Во времена Империи, в самые блистательные дни ее славы, когда Наполеон совершал поход в Испанию с отборными своими войсками, надежды этой женщины, до той поры обманутые, вновь проснулись. Любопытство естественно побуждало ее увидеть героев, покорявших Европу по одному слову императорского приказа и воскрешавших баснословные подвиги времен рыцарства. Города, самые скупые и самые непокорные, принуждены были давать празднества в честь императорской гвардии, которую, точно коронованных особ, мэры и префекты приветствовали торжественными речами. Г-жа де Баржетон на бале, данном в честь города каким-то полком, пленилась юным дворянином, простым корнетом, которого лукавый Наполеон прельстил жезлом маршала Франции. Страсть сдержанная, благородная, глубокая, ничуть не похожая на те страсти, что в ту пору так легко увязывались и приходили к развязке, была освящена в своем целомудрии рукою смерти. Под Ваграмом пушечное ядро раздробило на груди маркиза де Кант-Круа заветный портрет, свидетельствовавший о былой красоте г-жи де Баржетон. Она долго оплакивала прекрасного юношу, который за две кампании дослужился до полковника, воодушевляемый славой, любовью, и выше всех императорских милостей ценил письмо Наис. Скорбь набросила на лицо этой женщины тень грусти. Облако рассеялось лишь в том страшном возрасте, когда женщина начинает сожалеть о лучших годах, погибших для наслаждений, когда она видит увядающими свои розы, когда желания любви возрождаются вместе с жаждой продлить последние улыбки молодости. Все ее совершенства обратились в яд для ее души в тот час, когда она ощутила холод провинции. Как горностаи, она умерла бы от тоски, если бы запятнала себя случайной близостью с одним из тех мужчин, вся отрада которых картежная игра по маленькой после отменного обеда. Гордость уберегла ее от пошлых провинциальных связей. Будучи вынужденной выбирать между ничтожеством окружавших ее мужчин и отречением от любви, женщина, столь выдающаяся, должна была предпочесть последнее. Итак, замужество и свет обратились для нее в монастырь. Она жила поэзией, как кармелитка религией. Творения знаменитых чужестранцев, до той поры неизвестных, появившиеся между 1815 и 1821 годами, возвышенные трактаты г-на де Бональда и г-на де Местра, этих двух орлов мысли, наконец, менее величественные произведения французской литературы, пустившей свои первые мощные побеги, скрасили ее одиночество, но не смирили ни ее ума, ни ее нрава. Она держалась гордо и стойко, как дерево, пережившее грозу. Достоинство выродилось в чопорность, царственность – в спесивость и жеманство. Как все люди, притязающие на поклонение, но неприязательные в выборе поклонников, она царила, несмотря на свои недостатки. Таково было прошлое г-жи де Баржетон: безрадостная повесть, рассказать которую надобно было для того, чтобы объяснить близость этой дамы с Люсьеном, представленным ей достаточно необычно. В ту зиму в городе появилось лицо, оживившее однообразную жизнь г-жи де Баржетон. Освобдилось место начальника управления косвенными налогами, и г-н де Барант предоставил его человеку настолько прославленному своими похождениями, что женское любопытство должно было послужить ему пропуском к местной королеве.

Господин дю Шатле, появившийся на свет просто Сикстом Шатле, но в 1806 году возмевший лестную мысль отитуловаться, был одним из тех приятных молодых людей, которые при Наполеоне ускользнули от всех рекрутских наборов, держась вблизи императорского солнца. Он начал карьеру в должности личного секретаря одной из принцесс императорской фамилии. Г-н дю Шатле обладал всеми качествами, полезными в этой должности. Он был статен, хорош собою, отлично танцевал, отменно играл на бильярде, слыл чуть ли не гимнастом; посредственный актер-любитель, исполнитель романсов, ценитель острословия, готовый на все услуги, подобострастный, завистливый, он знал все и не знал ничего. Невежественный в музыке, он с грехом пополам аккомпанировал на фортепьяно какой-нибудь даме, «из любезности» согласившейся спеть романс, который она, однако, усердно разучивала в продолжение месяца. Лишенный всякого чувства поэзии, он отважно просил позволения подумать десять минут и сочинял экспромт – какое-нибудь плоское, как пощечина, четверостишие, где рифмы заменяли мысль. Г-н дю Шатле был одарен еще одним талантом: он умел вышивать по канве и оканчивал вышивки, начатые принцессой; с необычайным изяществом он держал мотки шелка, когда принцесса их разматывала, и нес всякий вздор, прикрывая непристойности более или менее прозрачным покровом. Невежественный в живописи, он мог намарать копию с пейзажа, набросать профиль, нарисовать и раскрасить эскиз костюма. Словом, он обладал всеми легковесными талантами, служившими весьма весомым основанием к успеху в ту пору, когда женщины были влиятельнее, нежели то принято думать. Он мнил себя знатоком в дипломатии, науке тех, кто ни в какой науке не сведущ и чья пустота сходит за глубокомыслие, – науке, впрочем, чрезвычайно удобной, ибо практически она выражается в несении высоких должностей и, обязывая людей к скрытности, позволяет невеждам хранить молчание, отделяться таинственным покачиванием головы, и, наконец, потому, что сильнее всех в этой науке тот, кто плавает, держа голову на поверхности потока событий, и притом с таким видом, точно он управляет ими, хотя вся суть в его особой легковесности. Тут, как и в искусстве, на одного даровитого человека приходится тысяча посредственностей. Несмотря на обычную и чрезвычайную службу при ее императорском высочестве, его высокая покровительница, при всей своей влиятельности, все же не пристроила его в Государственном совете: не потому, что из него не вышел бы восхитительный, не хуже других, докладчик прошений, но принцесса находила, что он более на месте при ней, нежели где-либо. Однако ж он получил титул барона, отправился в Кассель в качестве чрезвычайного посла и поистине произвел там чрезвычайное впечатление. Короче, Наполеон воспользовался им в один из критических моментов как дипломатическим курьером. Накануне падения Империи барону дю Шатле был обещан пост посла в Вестфалии, при Жероме. Когда это, как он выражался, семейственное посольство сорвалось, он приуныл; он отправился путешествовать по Египту с генералом Арманом де Монриво. Разлученный со своим спутником при чрезвычайно загадочных обстоятельствах, он два года скитался из пустыни в пустыню, от племени к племени, пленником арабов, которые перепродавали его из рук в руки, не умея извлечь ни малейшей пользы из его талантов. Наконец он очутился во владениях имама Маскатского, в то время как Монриво направлялся в Танжер; но ему посчастливилось застать в Маскате английский корабль, снимавшийся с якоря, и он воротился в Париж годом ранее своего спутника. Недавние злключения, кое-какие прежние связи, услуги, оказанные особам, бывшим в ту пору в милости, расположили к нему председателя совета министров, и тот прикомандировал его к барону де Баранту, при котором он и состоял, ожидая, пока освободится должность. Роль, которую исполнял г-н дю Шатле при ее императорском высочестве, слава баловня женщин, удивительные приключения во время его путешествия по Египту, перенесенные им страдания – все это возбудило любопытство ангулемских дам. Изучив нравы верхнего города, барон Сикст дю Шатле повел себя соответственно. Он корчил больного, разыгрывал человека разочарованного, пресыщенного. Он поминутно хватался за голову, точно старые раны не давали ему покоя, – наивная уловка, чтобы поддержать инте-

рес к себе, постоянно напоминая о своих странствованиях. Он был принят у высших властей: у генерала, префекта, главноуправляющего окладными сборами, у епископа, но всюду держал себя учтиво, холодно, слегка презрительно, как человек, который знает, что ему тут не место, и ожидает милостей свыше. Он предоставлял лишь догадываться о своих светских талантах, которые, впрочем, выигрывали от этой таинственности; наконец он повсюду стал желанным гостем, неизменно подогревая интерес к себе; попутно он убедился в ничтожестве мужчин и, пристально изучив в женщин во время воскресных богослужений в соборе, признал в г-же де Баржетон особу, достойную его внимания. Он счел, что музыка откроет ему двери этого дома, недоступного для простых смертных. Тайком достав мессу Мируара, он разучил ее на фортепьяно; затем, однажды в воскресенье, когда все высшее ангулемское общество слушало мессу, он восхитил невежд своей игрою на органе и оживил интерес к своей особе, нескромно разгласив через церковных служителей имя органиста. При выходе из собора г-жа де Баржетон поздравила его с успехом и посетовала, что не имела случая заняться с ним музыкой; конечно, желанная встреча окончилась приглашением бывать в доме, а этого он бы не достиг прямой просьбой. Ловкий барон явился к королеве Ангулема и всем напоказ стал за нею волочиться. Старый красавец, ибо барон был в возрасте сорока пяти лет, заметил в этой женщине молодость, которую можно оживить, сокровища, из которых можно извлечь пользу, богатую вдову в будущем, на которой, как знать, нельзя ли было жениться? Короче, он усматривал в ней случай породниться с семейством де Негрпелис, что дозволило бы ему сблизиться в Париже с маркизой д'Эспар и, при ее покровительстве, вступить сызнова на политическое поприще. Несмотря на то что темная, чрезмерно разросшаяся омела портила это чудесное дерево, он решил заняться им, очистить, подрезать, поухаживать за ним и добиться от него прекрасных плодов. Аристократический Ангулем восстал против допущения гяура в Касбу, ибо гостиняя г-жи де Баржетон была оплотом самого чистокровного общества. Завсегдатаем там был только епископ; там префекта принимали лишь два или три раза в год; главноуправляющий окладными сборами так и не проник туда: г-жа де Баржетон бывала в его доме на вечерах и концертах, но никогда у него не обедала. Гнушаться главноуправляющим сборами и радушно принимать простого начальника налогового управления – подобное нарушение иерархии было непостижимым для обиженных сановников.

Кто может мысленно войти в круг этих мелочных интересов, которые, впрочем, можно наблюдать во всех слоях общества, тот поймет, каким внушительным казался особняк де Баржетонов ангулемской буржуазии. Что касается жителей Умо, величие этого крохотного Лувра, слава этого ангулемского отеля Рамбулье ослепляли их на расстоянии, подобно солнцу. Однако ж на двадцать лье в округе не найти было более жалких, более убогих духом, более скудоумных людей, нежели посетители этого дома. Политика там сводилась к пустым и велеречивым разглагольствованиям: «Котидьен» почиталась там газетой умеренной, Людовик XVIII слыл якобинцем. Что касается женщин, то, в большинстве глупые и неизящные, нелепо разряженные, они все были уродливы, каждая по-своему; ничто в них не привлекало – ни их речь, ни их наряд, ни их телесные прелести. Не имей Шатле притязаний на г-жу де Баржетон, он не вынес бы этого общества. Однако ж манеры и дух касты, породистая внешность, гордость мелкопоместных феодалов, знание законов учтивости облекали собою всю эту пустоту. Верноподданнические чувства здесь были более искренни, нежели в кругах парижской знати; тут во всем своем блеске проявлялась почтительная привязанность к Бурбонам, *несмотря ни на что*. Здешнее общество можно было бы уподобить, если уж допустить такой образ, старомодному столовому серебру, почерневшему, но массивному. Косность политических мнений могла сойти за верность. Расстояние, отделявшее это общество от буржуазии, трудность доступа туда как бы возводило его на мнимую высоту и создавали ему условную ценность. Каждый из этих дворян имел в глазах обывателей некую цену, подобно тому как ракушки заменяют деньги неграм племени Бамбара.

Многие дамы, обласканные вниманием г-на дю Шатле и признавшие в нем достоинства, отсутствующие у мужчин их круга, укротили возмущенные самолюбия: все они надеялись присвоить наследие ее императорского высочества. Блюстители нравов полагали, что хотя он и втерся к г-же де Баржетон, однако же в других домах принят не будет. Дю Шатле выслушал немало колкостей, но удержался на своей позиции, обхаживая духовенство. Он льстил слабостям ангулемской королевы, отзываясь глубокой провинцией, и, помимо того, приносил ей все вновь выходящие книги, читал появлявшиеся в печати стихи. Они вместе восторгались творениями молодых поэтов, она – чистосердечно, он – скучая, ибо, как человек императорской школы, он слабо понимал романтическую поэзию, хотя и выслушивал стихи достаточно терпеливо. Г-жа де Баржетон, восхищенная этим возрождением под сенью королевских лилий, полюбила Шатобриана за то, что он назвал Виктора Гюго *вдохновенным ребенком*. Она грустила о том, что лишь понаслышке знакома с этим гением, и вздыхала о Париже, где живут великие люди. И вот барон дю Шатле решил сотворить чудо: он возвестил, что в Ангулеме существует свой «вдохновенный ребенок» – юный поэт, который, сам того не ведая, блеском восходящей звезды затмевает парижские созвездия. Будущая знаменитость родилась в Умо! Директор коллежа показывал барону прелестные стихи. Бедный и скромный юноша был новым Чаттертоном, но чуждым политического вероломства и той бешеной ненависти к сильным мира сего, которая побудила английского поэта писать памфлеты на своих благодетелей. Среди пяти или шести лиц, разделявших ее вкус к искусству и литературе, – потому ли, что тот пиликал на скрипке, а этот марал сепией бумагу, один в качестве председателя Земледельческого общества, другой оттого, что у него был бас, позволявший ему, точно охотнику, затравившему оленя, прореветь «*Se fiato in corpo avete*»⁶, – среди этих причудливых фигур г-жа де Баржетон чувствовала себя, как голодный человек на театральном пиршестве, где стол ломится от бутфорских яств из картона. Нет средств изобразить ту радость, с какой она приняла эту весть. Она желала видеть поэта, видеть этого ангела! Она была без ума от него, она восторгалась только им, она только о нем и говорила. Днем позже бывший дипломатический курьер беседовал с директором коллежа о том, что надобно представить Люсьена г-же де Баржетон.

Только вы, бедные илоты провинции, вынужденные преодолевать бесконечные сословные расстояния, которые в глазах парижан укорачиваются со дня на день, только вы, над кем столь жестоко тяготеют преграды, воздвигнутые между различными мирами нашего мира, которые предают друг друга анафеме и вопиют: *Ракá*, – только вы поймете, как взволновалось сердце и воображение Люсьена Шардона, когда его почтенный директор сказал, что перед ним распахнутся двери особняка де Баржеонов! Слава принудила их повернуться на своих петлях. Радужный прием ожидает его в этом старом доме со щипцовой крышей, манившей его взор, когда он вечером гулял по бульвару Болье с Давидом и думал, что их имена никогда, может быть, не дойдут до слуха этих людей, глухих к науке, если ее голос исходит из низов. В тайну была посвящена только его сестра. Как подобает хорошей хозяйке и доброй волшебнице, Ева извлекла несколько луидоров из своей сокровищницы и купила Люсьену изящные башмаки у лучшего башмачника в Ангулеме и новый фрак у самого знаменитого портного. Его праздничную сорочку она украсила выстиранными собственными руками и наплоенным жабо. Как она радовалась, увидев его таким нарядным! Как она гордилась братом! Сколько советов она ему преподавала! Она предугадала тысячи мелочей. Люсьен, вечно погруженный в свои мысли, усвоил привычку облакачиваться, стоило ему только сесть, и случалось, что в рассеянности он придвигал к себе стол, чтобы опереться; Ева предостерегала брата от столь непринужденного поведения в аристократическом святилище. Она проводила его до ворот Сен-Пьер, дошла с ним почти до самого собора, сопутствовала ему взглядом, покамест он не скрылся в улице Болье, направляясь к бульвару, где ожидал его г-н дю Шатле. Бедняжка замерла от волнения,

⁶ Если бы в теле дыхание было (*ит.*).

точно свершалось какое-то великое событие. Люсьен у г-жи де Баржетон! Для Евы то было зарей его счастья. Наивная девушка! Она не знала, что там, где замешано честолюбие, нет места чистосердечию.

Внешний вид дома не поразил Люсьена, когда он вошел в улицу Минаж. Этот Лувр, столь возвеличенный его мечтами, был построен из местного пористого камня, позолоченного временем. Здание достаточно унылое со стороны улицы и крайне простое изнутри: строгая, почти монастырская архитектура, провинциальный двор, мрачный и опрятный. Люсьен вошел по старой лестнице с перилами из орехового дерева, с каменными ступенями лишь до парадных покоев. Он прошел через скромную прихожую, через большую, тускло освещенную гостиную и застал свою владычицу в маленькой гостиной, отделанной резными панелями во вкусе прошлого века, окрашенными в серый цвет. Над дверьми – в подражание барельефам – роспись в одну краску. Стены украшал ветхий пунцовый штоф с незатейливым багетом. Старомодная мебель стыдливо пряталась под чехлами в пунцовую и белую клетку. Поэт увидел г-жу де Баржетон: она сидела на диване с обивкой в стежку, за круглым столом, покрытым зеленой ковровой скатертью, при свете двух свечей в старинном подсвечнике с козырьком. Королева не поднялась ему навстречу, она лишь жеманно изогнулась на своем ложе, улыбнувшись поэту, чрезвычайно взволнованному этим змеиным движением, исполненным, как ему казалось, неизъяснимого изящества. Удивительная красота Люсьена, робость его манер, голос – все в нем пленило г-жу де Баржетон. Поэт – это уже была сама поэзия. Между тем и в глазах юноши, украдкой изучавшего ее восхищенными взглядами, облик этой женщины находился в полном согласии с ее славой: он не был обманут в своих мечтаниях о знатной даме. Г-жа де Баржетон носила, следуя последней моде, черный бархатный берет с прорезями. Убор этот, напоминая о Средних веках, так сказать, поэтизирует женщину, что всегда пленяет сердце юноши; при свете свечей ее рыжеватые непокорные локоны, выбиваясь из-под берета, казались золотыми и как бы огненными в изгибах завитков. Благородная дама ослепляла белизной кожи, искупавшей рыжий цвет волос – мнимый недостаток для женщины. Серые глаза сияли; лоб, уже тронутый морщинами, но белый, словно изваянный из мрамора, великолепно венчал эти глаза, обведенные перламутровой каймой, и голубые жилки по обе стороны переносицы оттеняли безупречность этой нежной оправы. Нос с горбинкой, как у Бурбонов, подчеркивал страстность этого удлиненного лица, являя собою черту, некогда выдававшую царственную горячность Конде. Локоны слегка прикрывали шею. Небрежно повязанная косынка позволяла видеть беломраморные плечи, за узким корсажем взор угадывал совершенной формы грудь. Тонкой и холеной, но несколько суховатой рукой г-жа де Баржетон дружески указала молодому поэту на стул подле себя. Г-н дю Шатле сел в кресла. Тут Люсьен заметил, что в комнате их было только трое. Речи г-жи де Баржетон опьянили поэта из Умо. Три часа, проведенные в ее обществе, почудились Люсьену сном, который мечтаешь продлить. Эта женщина казалась ему скорее исхудавшей, нежели худощавой, увлекающейся, но не испытывавшей любви, болезненной вопреки крепости сложения; а все ее недочеты, преувеличенные жеманством, пленили его, ибо молодым людям в пору первой юности нравится преувеличение, этот обман прекрасных душ. Он не заметил ни поблекших ланит, ни той особой, кирпичного оттенка красноты, что налагают на наши лица заботы и огорчения. Горячий блеск глаз, изящество локонов, ослепительная белизна кожи прежде всего поразили воображение поэта; он был заморожен этим блистанием, как мотылек пламенем свечи. Притом чересчур многое говорила ее душа его душе, чтобы он мог судить женщину. Увлекательность этой женской восторженности, вдохновенность несколько старомодных фраз, обычных в обиходе г-жи де Баржетон, но для него новых, очаровали его тем легче, что он желал во всем видеть очарование. Стихов с собой он не принес, но о стихах и не вспомнил: он забыл о сонетах, чтобы иметь причину опять прийти в ее дом; г-жа де Баржетон о стихах не упоминала, потому что в ближайший день желала пригласить его прочесть их. Не было ли то залогом сердечного согласия! Г-н Сикст дю Шатле остался недо-

волен подобным приемом. Он поздно заметил соперника в этом красивом юноше и, в намерении подчинить его своей дипломатии, проводил поэта до поворота дороги, где начинается спуск от Болье. Люсьен немало удивился, когда управляющий косвенными налогами, хвалясь, что он представил его г-же де Баржетон, почел возможным преподать ему некоторые советы.

Дай Бог, чтобы с Люсьеном лучше обошлись, нежели с ним самим, говорил г-н дю Шатле. Двор менее чванлив, нежели это общество тупиц. Тут могут нанести неслыханные обиды, тут-то ты почувствуешь, что значит ледяное презрение. Ежели эти люди не переменятся, революция 1789 года неминуемо повторится. Что до него касается, он бывает в этом доме только из симпатии к г-же де Баржетон, единственной сколько-нибудь интересной женщине в Ангулеме; он стал волочиться от скуки и влюбился до потери памяти. Он будет обладать ею, он любим, это видно по всему. Покорить эту гордую королеву – вот его отмщение этому глупому аристократическому гнезду.

Шатле принял позу человека, страстно влюбленного, способного убить соперника, ежели бы таковой встретился. Старый ветренник времен Империи обрушился всей своей тяжестью на бедного поэта, пробуя подавить его значительностью своей особы и нагнать страху. Рассказывая о своем путешествии, он сгущал краски, чтобы себя возвеличить, но если он тронул воображение поэта, то ни в какой степени не устрасил влюбленного.

С этого вечера, наперекор старому фату, несмотря на его угрозы и осанку штатского вояки, Люсьен стал бывать у г-жи де Баржетон, сперва соблюдая скромность, подобающую обывателю Умо, затем посещения участились, коль скоро он освоился с тем, что прежде ему казалось великой милостью. Сын аптекаря для людей этого круга был сущим ничтожеством. Какой-нибудь дворянин или дама, приехав с визитом к Наис и встретив у нее Люсьена, обходились с ним подчеркнуто учтиво, как принято у людей светских в обращении с низшими. Сперва Люсьен находил общество ангулемской местной знати чрезвычайно приятным, потом он понял, из каких чувств исходит ее притворная любезность. Он скоро уловил покровительственный тон в обращении с ним, и в нем заговорила злоба, укрепившая его в исполненных ненависти республиканских чувствах, с которых многие из будущих патрициев начинают свою великосветскую карьеру. Но каких мучений не претерпел бы он ради Наис, как именовали ее в своем кругу члены этого клана, где мужчины и женщины, подражая испанским грандам и *сливкам* венского общества, называли друг друга уменьшительными именами – последняя тонкость сословного отличия, придуманная ангулемской аристократией.

Наис была любима, как бывает любима юношей первая женщина, которая ему льстит, ибо Наис предрекала Люсьену блестящую будущность и громкую славу. Г-жа де Баржетон применила всю присущую ей ловкость, чтобы оправдать свою близость с поэтом. Она не только превозносила его сверх всякой меры, но и рисовала его нуждающимся юношей, которого желала бы пристроить; она умаляла его, чтобы удержать при себе; она выдавала его за своего тещу, секретаря; но она любила его более, нежели думала когда-либо полюбить после постигнутого ее страшного несчастья. Внутренне она укоряла себя, она говорила себе: не безрассудно ли полюбить двадцатилетнего юношу, притом столь низко поставленного в обществе? Короткость обращения находилась в своенравном противоречии с ее высокомерием, внушенным выскательностью. Она выказывала себя то надменной покровительницей, то льстивой поклонницей. Итак, Люсьен, сперва робевший перед высоким положением этой женщины, пережил все страхи, надежды, разочарования, которые выковывают первую любовь, что так глубоко западает в сердце под ударами горя и радости, ускоряющими его биение. В продолжение двух месяцев он видел в ней благодетельницу, готовую по-матерински о нем заботиться. Но излишества начались. Г-жа де Баржетон уже называла своего поэта «милым Люсьеном», затем просто «милым». Поэт, осмелев, дерзнул назвать эту важную даму «Наис». Услышав из его уст это имя, она выказала негодование, столь лестное для юноши: она упрекнула его за то, что он называет ее как все. Надменная и высокородная Негрпелис желала, чтобы ее прекрасный

ангел называл ее так, как никто не называет, ее вторым именем: она желала быть для него Луизой. Люсьен вознесся до третьих небес любви. Однажды вечером Люсьен вошел в ту минуту, когда Луиза рассматривала чей-то портрет, который она поспешно спрятала; он пожелал его посмотреть. Желая укротить бурное отчаяние пробудившейся ревности, Луиза показала портрет юного Кант-Круа и не без слез поведала печальную повесть своей любви, столь чистой и столь жестоко прерванной. Не готовилась ли она нарушить верность мертвецу или думала создать Люсьену соперника в этом портрете? Люсьен был чересчур молод, чтобы изучать свою возлюбленную, отчаяние его было наивным, ибо она открывала военные действия, в ходе которых женщина вынуждает мужчину пробить брешь в более или менее искусно возведенных укреплениях ее щепетильности. Рассуждения о долге, о приличиях, о религии – своего рода крепости, за которыми укрывается женщина, и она любит, чтобы их брали приступом. Простодушный Люсьен не нуждался в подобных уловках; он готов был сражаться без всяких ухищрений.

– Я не умру, я буду жить для вас, – отважно сказал Люсьен однажды вечером, желая покончить с г-ном де Кант-Круа, и взгляд, брошенный им на Луизу, говорил, что его страсть дошла до предела.

Испуганная быстрыми успехами этой новой взаимной любви, она напомнила поэту о стихах, обещанных им для первой страницы ее альбома, и в медлительности Люсьена пыталась найти причину для размолвки. Но что случилось с нею, когда она прочла следующие стансы, разумеется показавшиеся ей прекраснее лучших стансов аристократического поэта Каналиса:

Не созданы мои душистые страницы,
Чтоб их заполнили лишь музы небылицы
Да беглый штрих карандаша.
Порой на них мелькнет и слово неги страстной,
Признание тайное владычицы прекрасной:
Заговорит ее душа.

Когда ж на склоне лет, овеяна мечтами,
Судьбы любимица, поблекшими перстами
Листки переберет она,
Улыбкою любви блеснет ей быть живая,
Безоблачно ясна,
Подобно небесам сияющего мая⁷.

– Неужто я подсказала вам эти стихи? – спросила она.

Мнимое сомнение, внушенное кокетством женщины, которой нравилось играть с огнем, вызвало слезы на глазах Люсьена; она успокоила его, впервые поцеловала в лоб. Решительно Люсьен был великим человеком, и она желала заняться его образованием; она уже мечтала обучить его итальянскому и немецкому, придать лоск его манерам; она изыскивала причины держать его при себе неотлучно, к досаде докучливых поклонников. Как занимательна стала ее жизнь! Ради своего поэта она опять обратилась к музыке и открыла ему мир звуков; она сыграла для него несколько прекрасных вещей Бетховена и привела его в восхищение; счастливая его радостью, заметив, что он буквально изнемогает, она лукаво сказала:

– На что нам иное счастье?

Поэт имел глупость ответить:

– Да-а...

⁷ Все стихотворные переводы в тексте романа выполнены В. Левиком.

Наконец дело дошло до того, что Луиза на прошлой неделе пригласила Люсьена отобедать у нее, втроем с г-ном де Баржетоном. Несмотря на такую предосторожность, весь город узнал о событии и счел его столь невероятным, что всякий спрашивал себя: «Неужто это правда?» Шум поднялся страшный. Многим казалось, что общество накануне гибели. Другие кричали:

– Вот плоды либеральных учений!

Ревнивый дю Шатле тем временем проведал, что г-жа Шарлотта, сиделка при роженицах, не кто иная, как г-жа Шардон, мать, как он выразился, *Шатобриана из Умо*. Выражение это было подхвачено как острова. Г-жа де Шандур первая прибежала к г-же де Баржетон.

– Вы слышали, дорогая Наис, о чем весь Ангулем говорит? – сказала она. – Ведь та самая госпожа Шарлотта, что два месяца назад принимала у моей невестки, – мать этого щелкопера!

– Дорогая моя, – сказала г-жа де Баржетон, приняв вполне царственный вид, – мудреного тут нет! Ведь она вдова аптекаря? Печальная судьба для девицы де Рюампре! Вообразите, что мы с вами очутились бы без единого су... На что стали бы мы жить? Как прокормили бы вы своих детей?

Невозмутимость г-жи де Баржетон пресекла вопли ангулемского дворянства. Возвышенные души всегда склонны возводить несчастье в добродетель. Притом в упорстве творить добро, когда это вменяется в преступление, таится неодолимый соблазн: в невинности есть острова порока. Вечером салон г-жи де Баржетон был полон ее друзей, собравшихся пожурить ее. Она выказала всю язвительность своего ума: она сказала, что, ежели дворянство не может дать ни Мольера, ни Расина, ни Руссо, ни Вольтера, ни Масильона, ни Бомарше, ни Дидро, надобно мириться с обойщиками, часовщиками, ножовщиками, дети которых становятся великими людьми. Она изрекла, что гений всегда благороден. Она распустила дворянчиков за то, что плохо понимают, в чем их истинные выгоды. Короче, она наговорила много всякого вздора, и люди менее наивные догадались бы, что было тому причиной, но присутствующие лишь воздали честь оригинальности ее ума. Итак, она отвратила грозу пушечными выстрелами. Когда Люсьен, впервые званный на ее вечер, вошел в старую, поблекшую гостиную, где играли в вист за четыремья столами, ему оказан был г-жою де Баржетон лестный прием, и она, как королева, привыкшая повелевать, представила его своим гостям. Она назвала управляющего косвенными налогами *господином Шатле* и чрезвычайно этим смутила его, дав понять, что ей известно о незаконном происхождении частицы *дю*. С того вечера Люсьен был насильственно введен в общество г-жи де Баржетон, но он был принят как вещество ядовитое, и каждый поклялся изгнать его, применив в качестве противоядия дерзость. Несмотря на победу, владичество Наис поколебалось: объявились вольнодумцы, покушавшиеся восстать. По наущению г-на Шатле коварная Амели, она же г-жа де Шандур, решила воздвигнуть алтарь против алтаря и стала принимать у себя по средам. Но салон г-жи де Баржетон был открыт каждый вечер, а люди, посещавшие его, были так косны, так привыкли смотреть на одни и те же обои, играть в тот же триктрак, видеть тех же слуг, те же канделябры, надевать плащи, калоши, шляпы все в той же прихожей, что любили ступени лестницы не менее, нежели хозяйку дома.

– Стерпят и щегленка из священной роши, – сказал, вымучив острова, Александр де Бребиан.

Наконец председатель Земледельческого общества утишил волнение поучительным замечанием.

– До революции, – сказал он, – самые именитые вельможи принимали у себя Дюкло, Гримма, Кребийона, людей без положения, как и этот стихоплет из Умо, но они не принимали уборщиков податей, каковым, в сущности, является господин Шатле.

Дю Шатле поплатился за Шардона, повсюду ему стали оказывать ледяной прием. Почувствовав общую враждебность, управляющий косвенными налогами, поклявшийся с той поры, когда г-жа де Баржетон назвала его *Шатле*, добиться ее благосклонности, вошел в интересы

хозяйки дома; он поддержал юного поэта, объявив, что они друзья. Этот великий дипломат, которым так опрометчиво пренебрег Наполеон, обласкал Люсьена, назвавшись его другом. Чтобы ввести поэта в общество, он дал обед, на котором присутствовали префект, главноуправляющий государственными сборами, начальник гарнизона, директор морского училища, председатель суда – короче, все власти. Бедного поэта так чествовали, что всякий другой, только не юноша в двадцать один год, конечно, заподозрил бы в столь щедрых похвалах дурачество! За десертом Шатле попросил своего соперника прочесть оду «Умиравший Сарданапал» – последний его шедевр. Выслушав оду, директор коллежа, мужчина, равнодушный ко всему, захопал в ладоши и объявил, что Жан-Батист Руссо не сочинил бы лучше. Барон Сикст Шатле рассудил, что рано или поздно стихотворец зачахнет в тепличной атмосфере похвал или же, опьяненный преждевременной славой, позволит себе какую-либо дерзкую выходку и, естественно, опять впадет в ничтожество. В ожидании кончины гения он, казалось, принес в жертву свои собственные притязания на г-жу де Баржетон, но, как ловкий плут, составил план действий и зорко следил за каждым шагом влюбленных, подстерегая случай погубить Люсьена. С той поры и по Ангулему, и по всей округе пошла глухая молва о существовании великого человека в Ангумуа. Все пели хвалы г-же Баржетон за ее заботы об этом орленке. Но коль скоро поведение ее было одобрено, она пожелала добиться полного признания. Она раструбила по всему департаменту, что дает вечер с мороженым, пирожным и чаем – великое новшество в городе, где чай продавался только в аптеках как средство от расстройства желудка. Цвет аристократии приглашен был послушать великое творение, которое должен был прочесть Люсьен. Луиза утаила от своего друга, с каким трудом она преодолела все препятствия, но она обронила несколько слов о заговоре, составленном против него светом, ибо она не желала оставить юношу в неведении относительно тех опасностей, какие неминуемо подстерегают гениальных людей на поприще, чреватом препонами, неодолимыми для малодушных. Победой она воспользовалась для назидания. Беломраморными руками она указала ему на Славу, покупаемую ценою непрерывных страданий, она говорила ему, что неизбежно для поэта взойти на костер мученичества, она намастила самые лучшие свои *тартинки* и сдобрила их самыми пышными выражениями. То было подражание импровизациям, которые достаточно испортили роман «Коринна». Луиза, восхитившись собственным красноречием, еще более полюбила вдохновившего ее Вениамина; она советовала ему смело отречься от отца, принять благородное имя де Рюампре, пренебречь шумом, который по сему случаю подымет, ибо король, конечно, узаконит перемену имени. Она в родстве с маркизой д'Эспар, урожденной де Блалон-Шоври, дамой чрезвычайно влиятельной в придворных кругах. Луиза бралась исходатайствовать эту милость. При словах «король», «маркиза д'Эспар», «двор» Люсьен загорелся, как фейерверк, и необходимость этого крещения была доказана.

– Милый мальчик, – сказала Луиза с нежной насмешкой, – чем ранее это свершится, тем скорее будет признано.

Она вскрыла последовательно, один за другим, все слои общества и вместе с поэтом сосчитала ступени, через которые он сразу перешагнет, приняв это мудрое решение. В одно мгновение она принудила Люсьена отречься от плебейских идей о несбыточном равенстве в духе 1793 года, она пробудила в нем жажду почестей, остуженную холодными рассуждениями Давида. Она указала на высший свет как на единственную арену его деятельности. Неистовый либерал стал монархистом *in petto*⁸: Люсьен вкусил от плода аристократической роскоши и славы. Он поклялся положить к ногам своей дамы венец, пусть даже окровавленный; он завоеует его любой ценою, *quibuscumque viis*⁹. В доказательство своего мужества он поведал о своих невзгодах, которые таил от Луизы, послушный безотчетной робости, спутнице первой любви,

⁸ В глубине души (*int.*).

⁹ Любыми путями (*lat.*).

не позволяющей юноше хвалиться своими достоинствами, ибо ему милее знать, что оценили его душу, сохранившую *incognito*¹⁰. Он описал гнет нищеты, переносимой гордостью, работу у Давида, ночи, посвященные науке. Юный пыл его напомнил г-же де Баржетон двадцатишестилетнего полковника де Кант-Круа, и взор ее затуманился. Заметив, что его величественной возлюбленной овладевает слабость, Люсьен взял ее руку, – и ему позволили ее взять, – и поцеловал с горячностью поэта, юноши, любовника. Луиза снизошла до того, что разрешила сыну аптекаря коснуться ее чела и приложиться к нему своими трепетными устами.

– Дитя! Дитя! Ежели бы нас увидели, как бы надо мною посмеялись, – сказала она, пробуждаясь от восхитительного оцепенения.

В тот вечер образ мыслей г-жи де Баржетон произвел великие опустошения в том, что она называла предрассудками Люсьена. Послушать ее – так для гениальных людей не существует ни братьев, ни сестер, ни отца, ни матери; великие творения, которые они призваны созидать, требуют от них известного себялюбия, обязывая приносить все в жертву их величию. Если их близкие сперва и страдают от обременительной дани, взимаемой титанами ума, позже им воздастся сторицей за все жертвы, приносимые в первую пору борьбы за оспариваемый престол, и они разделяют с ним плоды победы. Гений ответствен лишь перед самим собой; он единственный судия своих действий, ибо он один знает их коренную цель; он должен стать выше законов, ибо призван преобразовать их; а кто стал властелином своего века, тот может все брать, все ставить на карту, ибо все принадлежит ему. Она вспомнила историю жизни Бернара де Палисси, Людовика XI, Фокса, Наполеона, Христофора Колумба, Цезаря, всех этих прославленных игроков, сперва обремененных долгами, нуждавшихся, непонятых, прослывших безумцами, дурными сыновьями, дурными отцами, дурными братьями, но позже ставших гордостью семьи, родины, всего мира. Рассуждения эти отвечали тайным порокам Люсьена и еще более развращали его душу: ибо в пламенности своих желаний он *a priori*¹¹ оправдывал все средства. Но не одержать победы – значит оскорбить Его Величество Общество. Ты потерпел поражение? А тем самым разве ты не нанес смертельный удар всем мещанским добродетелям, этой основе общества, которое с ужасом изгоняет Мариев, сидящих среди развалин? Люсьен не сознавал, что стоит на распутье между позором каторги и лаврами гения; он парил над Синаем пророков, не провидя Мертвого моря, страшного савана Гоморры.

Луиза так искусно освободила ум и сердце своего поэта от пелен, которыми их обернула провинциальная жизнь, что Люсьен пожелал испытать г-жу де Баржетон, узнать, может ли он овладеть этой высокой добычей, не ждет ли его позорный отказ. Званный вечер предоставлял ему случай осуществить это испытание. К его любви примешивалось честолюбие. Он жаждал любви и славы – двойное желание, вполне естественное в молодом человеке, которому надобно и удовлетворить сердце, и покончить с нищетой. Приглашая ныне всех своих детищ на общий пир, общество уже на заре их жизни пробуждает в них честолюбие. Оно лишает юность ее прелести и растлевает ее благие порывы, внося в них расчет. Поэзия желала бы, чтобы все было иначе; но действительность чересчур часто опровергает вымысел, которому хотелось бы верить, и нельзя позволить себе изобразить молодого человека XIX столетия иным, нежели он есть в самом деле. Люсьену казалось, что его расчеты подсказаны ему добрыми чувствами, дружбою с Давидом.

Люсьен сочинил целое послание своей Луизе, потому что чувствовал себя смелее с пером в руке, нежели с признанием на устах. На двенадцати страницах, трижды переписанных, он рассказал ей о талантах своего отца, о его погибших надеждах и о страшной своей нищете. Он изобразил ангелом свою милую сестру, Давида – будущим Кювье, великим человеком, другом, заменившим ему отца, брата; он был бы недостоин любви Луизы, своей первой славы, ежели

¹⁰ Тайну (*лат.*).

¹¹ Заранее (*лат.*).

бы не попросил ее отнестись к Давиду так, как она отнеслась к нему самому. Лучше уж от всего отказаться, чем изменить Давиду Сешару; он желает, чтобы Давид был свидетелем его успехов. Он написал одно из тех сумасшедших писем, в которых молодые люди на отказ отвечают угрозой выстрела из пистолета, в которых применяется ребяческая казуистика и говорит безрассудная логика прекрасной души – очаровательное пустословие вперемешку с наивными признаниями, вырвавшимися из сердца помимо воли писавшего, что, кстати сказать, так любят женщины. Вручив горничной письмо, Люсьен провел день за чтением корректуры, наблюдал за работой, приводил в порядок мелкие дела по типографии и ни словом не обмолвился о нем Давиду. Покуда сердце не вышло из младенческого состояния, дивный дар сдержанности присущ юношам. И как знать, не опасался ли Люсьен секиры Фокиона, которою отлично владел Давид? Может быть, он опасался ясности его взгляда, проникающего в глубину? После чтения стихов Шенье тайна его сердца сорвалась с уст, встревоженная упреком, который он ощутил как перст врача, коснувшийся открытой раны.

Вообразите теперь, какие мысли волновали Люсьена, покамест он спускался из Ангулема в Умо. Не разгневалась ли знатная дама? Пригласит ли она к себе Давида? Не окажется ли честолюбец низвергнутым в свою трущобу в предместье Умо? Хотя, прежде чем поцеловать Луизу в лоб, Люсьен мог бы измерить расстояние, отделявшее королеву от ее фаворита, все же он не подумал о том, что Давид не в силах мгновенно преодолеть такое пространство, когда ему самому понадобилось на это пять месяцев. Не ведая, на какое безоговорочное отлучение от общества обречены люди низкого звания, он не понимал, что вторая подобная попытка будет гибелью для г-жи де Баржетон. Заподозренная и уличенная в дурных знакомствах, Луиза была бы принуждена покинуть город, где люди ее касты бежали бы от нее, как в Средние века бежали от прокаженных. Клан высшей аристократии и даже духовенство стали бы защищать Наис вопреки всему и против всех, даже в том случае, ежели бы она позволила себе нарушить супружескую верность; но грех дурного знакомства никогда не был бы отпущен, ибо если властелину прощаются грехи, то, отрекись он от власти, его тотчас же осудят за них. Принять у себя Давида – не значило ли отречься от власти? Если Люсьен и не охватывал этой стороны вопроса, все же аристократическое чутье подсказывало ему множество иных трудностей, и он страшился их. Благородство чувств отнюдь не всегда сочетается с благородством манер. Если Расин был с виду знатным вельможей, то Корнель сильно напоминал прасола. Декарт был похож на степенного голландского купца. Посетители замка Ля-Бред, встречая Монтескье с граблями на плече, в ночном колпаке, нередко принимали его за простого садовника. Навыки света, когда они не дар высокого рождения и не наука, впитанная с молоком матери либо унаследованная в крови, приобретаются воспитанием, которому помогает случайность: изящество облика, породистое лицо, красивый голос. Все эти великие мелочи отсутствовали у Давида, между тем как природа щедро одарила ими его друга. Дворянин по матери, Люсьен с головы до самого кончика ноги с высоким подъемом был чистокровным франком, тогда как у Давида Сешара была плоская стопа кельта и наружность отца-печатника; Люсьен уже видел, как насмеваются над Давидом, ему чудилась сдержанная улыбка на устах г-жи де Баржетон. Не то чтобы он устыдился своего брата, но все же он дал себе слово впредь не поддаваться первому побуждению и обдумывать свои поступки. Итак, когда миновал час поэзии самоотверженных порывов – след чтения стихов, открывшего обоим друзьям литературное поприще, освещенное новым солнцем, – для Люсьена пробил час политики и расчетов. Вступая в Умо, он уже сожалел, что написал это послание, он желал бы его вернуть, ибо в эту минуту озарения он постиг неумолимые законы света. После того как он понял, насколько завоеванная фортуна благоприятствует его честолюбию, трудно было ему снять ногу с первой ступени лестницы, по которой предстояло взбежать на приступ высот. Но образы жизни, простой и спокойной, украшенной живыми цветами чувства, вновь расцвели в его воспоминании: вдохновенный Давид, готовый, если то нужно, жизнь отдать ради него; мать, такая величавая даже в горькой нужде,

уверенная в его доброте столь же, сколько в уме; сестра, такая прелестная в своем самоотречении; чистое детство, незапятнанная совесть, надежды, с которых ветер еще не оборвал лепестков. И он сказал себе, что лучше стезей успеха пробиться сквозь густые толпы аристократических и мещанских воинств, нежели выдвинуться по милости женщины. Гений его заблестит рано или поздно, как гений стольких его предшественников, покорявших общество; о, тогда женщины его полюбят! Пример Наполеона, столь роковой для XIX века, внушающий надежды стольким посредственностям, встал перед Люсьеном, и он пустил по ветру свои расчеты и даже корил себя за них. Таким был создан Люсьен: с равной легкостью переходил он от зла к добру и от добра к злу. Вместо любви, которую философ питает к своему приюту, Люсьен последний месяц испытывал нечто похожее на стыд при виде лавки с вывеской, где по зеленому грунту желтыми буквами было выведено:

АПТЕКА ПОСТЭЛЯ, ПРЕЕМНИКА ШАРДОНА

Имя его отца, выставленное напоказ на самой проезжей улице, оскорбляло его взор. В тот вечер, когда он вышел из ворот своего дома через решетчатую калитку дурного вкуса, чтобы появиться на бульваре Болье среди самой изящной молодежи верхнего города рука об руку с г-жой де Баржетон, он удивительно остро ощутил несоответствие между своим жилищем и благосклонной к нему фортуной.

«Любить госпожу де Баржетон; может быть, вскоре стать ее возлюбленным – и жить в такой крысиной норе!» – думал он, входя в небольшой дворик, где вдоль стен были разложены связки вываренных трав, где аптекарский ученик чистил лабораторные котлы, где г-н Постэль, в рабочем фартуке, с пробиркою в руках, изучал химический препарат, бросая косвенные взгляды на свою лавочку; и если он чересчур внимательно вглядывался в пробирку, стало быть, прислушивался к звонку. Запахи мяты, ромашки, различных лекарственных растений, подвергнутых мокрой перегонке, наполняли весь дворик и скромное жилище, куда надобно было взбираться по крутой лестнице, с веревкою вместо перил, в просторечье называемой *мельничной лестницей*. Наверху, в мансарде из одной комнаты, жил Люсьен.

– Здравствуйте, сынок, – сказал г-н Постэль, совершенный образец провинциального лавочника. – Как ваше здоровье? А я произвожу опыты с патокой; но чтобы найти то, что я ищу, тут надобен ваш отец. Да, толковый был человек! Знай я его тайну лечения подагры, мы с вами нынче катались бы в каретах!

Не проходило недели, чтобы аптекарь, настолько же глупый, как и добрый, не вонзал нож в сердце Люсьена, напоминая о роковой скрытности отца во всем, что касалось его изобретения.

– Да, это большое несчастье, – коротко отвечал Люсьен; ученик его отца начинал представляться ему чрезвычайным пошляком, хотя он прежде нередко его благословлял, ибо честный Постэль не раз оказывал помощь вдове и детям своего учителя.

– Что это с вами нынче? – спросил г-н Постэль, ставя пробирку на лабораторный столик.

– Письма мне не приносили?

– Те-те-те! Есть письмецо! И пахнет, что твой бальзам! Вот оно там, на прилавке, подле конторки.

Письмо г-жи де Баржетон среди аптекарских склянок! Люсьен бросился в лавку.

– Поспеши, Люсьен! Обед ожидает тебя уже целый час: он простынет, – ласково прозвучал в приотворенном окне чей-то нежный голос, но Люсьен его не слышал.

– У вашего братца не все дома, мадемуазель, – сказал Постэль, задирая голову.

Сей холостяк, порядком напоминавший водочный бочонок, на котором по причуде живописца намалевана была толстощекая, рябая от оспин и красная физиономия, увидев Еву, принял церемонную и любезную позу, избличавшую, что он не прочь жениться на дочери своего предшественника, сумеет он положить конец борьбе между любовью и расчетом, разыграв-

шейся в его сердце. Потому-то, расплываясь в улыбке, он часто повторял Люсьену неизменную фразу, которую сказал и теперь, когда молодой человек опять прошел мимо него:

– Ваша сестра на диво хороша! Да и вы недурны собою! Ваш отец все делал мастерски.

Ева, высокая брюнетка с голубыми глазами, действительно была необычайно хороша собою. Мужественность характера сказывалась у нее во всяком жесте, что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Ее чистосердечие, простодушие, покорность трудовой жизни, ее скромность, которая не подавала ни малейшего повода к злословию, пленили Давида Сешара. И уже с первой встречи между ними возникла безмолвная и наивная любовь в немецком духе, без бурных сцен и пышных признаний. Они втайне мечтали друг о друге, точно любовники, разлученные ревнивым мужем, для которого их любовь была бы оскорбительна. Оба таились от Люсьена, точно их чувство было изменой ему. Давид боялся, что он не нравится Еве, а она, в свою очередь, стеснялась своей бедности. Простая работница была бы смелее, но девушка, получившая хорошее воспитание и обнищавшая, мирилась со своей печальной участью. Скромная с виду, но нрава гордого, Ева не желала гнаться за сыном человека, слывшего богачом. В ту пору люди, осведомленные о все возрастающей стоимости земли, оценивали имение Марсак в восемьдесят с лишком тысяч франков, не считая земель, которые при случае, вероятно, прикупал старик Сешар, набивший туго свою мошну, удачливый на урожай, оборотистый в делах. Давид, пожалуй, был единственным человеком, не подозревавшим о богатстве отца. Для него Марсак был усадьбой, купленной в 1810 году за пятнадцать, не то шестнадцать тысяч франков, и он показывался там раз в год во время сбора винограда, когда отец водил его по виноградникам, хвалясь урожаем, от которого типограф не видел проку и которым чрезвычайно мало интересовался. Любовь ученого, свыкшегося с одиночеством, в котором воображение увеличивает препятствия и тем еще более усиливает чувство, нуждалась в поощрении, ибо для Давида Ева была женщиной, внушавшей почтение большее, нежели какая-либо знатная дама внушает простому писцу. Вблизи своего идола типограф робел, дичился, торопился уйти, как торопился прийти, и тщательно скрывал свою страсть, вместо того чтобы ее выказать. Нередко, сочинив какую-нибудь причину, чтобы посоветоваться с Люсьеном, он вечером спускался с площади Мюрье в Умо через ворота Пале, но, дойдя до калитки с зеленой железной решеткой, он спасался бегством, испугавшись, что пришел чересчур поздно, – Ева, конечно, легла спать и может счесть его назойливым. Ева поняла его чувство, хотя эта великая любовь проявлялась лишь в мелочах; она была польщена, но не возгордилась, оказавшись предметом глубокого почитания, которое чувствовалось в каждом взгляде, в каждом слове, во всем обращении с ней Давида; но более всего ее пленяла в типографе его фанатичная преданность Люсьену: он избрал лучший путь к сердцу Евы. Чтобы понять, чем эти немые утехы любви отличны от мятежных страстей, должно уподобить их полевым цветам и затем сравнить с блистательными цветами оранжерей. То были взгляды, нежные и невинные, как голубые лотосы на глади вод, признания, едва уловимые, как запах шиповника, грусть, ласкающая, как бархат мхов; цветы двух прекрасных душ, возросшие на тучной, плодоносной, надежной почве. Ева прозревала, какая сила скрыта под этой слабостью. Она очень хорошо понимала все то сокровенное, что Давид не осмеливался ей высказать, и самый легкий повод мог повлечь за собою самый тесный союз их душ.

Люсьен вошел в дверь, уже отпертую Евой, и молча сел за маленький складной столик без скатерти, накрытый на один прибор. В их бедном хозяйстве было только три серебряных прибора, и Ева подавала их лишь любимому брату.

– Что ты читаешь? – спросила она, поставив на стол блюдо, только что снятое с огня, и погасив переносную плитку тушилом.

Люсьен не отвечал. Ева взяла тарелочку, изящно убранную виноградными листьями, горшочек со сливками и поставила их на стол.

– Взгляни, Люсьен, я достала для тебя земляники.

Люсьен, увлеченный чтением, ничего не слышал. Тогда Ева, не вымолвив ни единого слова, присела подле него, ибо любящей сестре доставляло удовольствие, когда брат обращался с ней запросто.

– Что с тобой? – вскричала она, заметив слезы, блеснувшие на глазах брата.

– Ничего, Ева, ничего! – сказал он и, обняв ее, привлек к себе и с удивительной пылкостью стал целовать ее лоб, волосы, шею.

– Ты что-то таишь от меня?

– Ну слушай же: она меня любит!

– Я так и знала! Ты целовал не меня, – покраснев, обиженно сказала бедняжка.

– Мы все будем счастливы! – вскричал Люсьен, глотая полными ложками суп.

– Мы? – повторила Ева.

Волнуемая теми же предчувствиями, что тревожили и Давида, она прибавила:

– Ты нас разлюбишь!

– Как ты, зная меня, можешь так думать?

Ева взяла его руку и пожала ее; потом она убрала со стола пустую тарелку, глиняную суповую миску и придвинула приготовленное ею блюдо. Но Люсьен не притронулся к нему, он упивался письмом г-жи де Баржетон, и Ева из скромности не попросила показать ей письмо, так почтительно относилась она к брату: пожелает он прочесть ей письмо – она готова ждать; не пожелает – смеет ли она требовать? Она ждала. Вот это письмо:

Друг мой, неужели я отказала бы Вашему брату по науке в поддержке, которую я Вам оказываю? В моих глазах таланты равноправны: но Вы пренебрегаете предрассудками людей нашего круга. Мы не вольны приказать аристократии невежества признать благородство духа. Ежели окажется, что не в моей власти ввести в это общество господина Давида Сешара, ради Вас я охотно пожертвую столь жалкими людьми. Не воскрешает ли это античные гекатомбы? Но, милый друг, Вы, конечно, не пожелаете, чтобы я принимала у себя человека, образом мыслей и манерами не вполне мне приятного. Ваши лестные отзывы показали мне, как легко ослепляет дружба! Вы не разгневаетесь, ежели я дам свое согласие лишь с одним условием? Я желаю прежде увидеть Вашего друга, составить о нем свое мнение, узнать, в интересах Вашего будущего, не заблуждаетесь ли Вы? И руководит мною не материнская ли забота о Вас, мой милый поэт?

Луиза де Негрелис

Люсьен не знал, с каким искусством в высшем свете говорят *да*, чтобы сказать *нет*, и *нет*, чтобы сказать *да*. Это письмо было торжеством для него. Давид пойдет к г-же де Баржетон, он блеснет сегодня у нее величием своего ума. В опьянении победы, внушившей ему уверенность в силе своего влияния на людей, он принял столь горделивую осанку, столько лучезарных надежд изобличило его просиявшее лицо, что сестра не могла не восхититься его красотой.

– Ежели эта женщина умна, она должна тебя очень любить! И тогда нынче вечером ее ожидает огорчение, ведь все дамы станут на тебя заглядываться. Как ты будешь хорош, читая своего «Апостола Иоанна на Патмосе»! Ах, зачем я не мышка, я бы туда прошмыгнула! Идем, ты переоденешься в комнате у матушки.

Эта комната являла собою благопристойную нищету. Там стояла кровать орехового дерева под белым пологом, перед нею лежал тощий зеленый коврик. Комод с зеркалом в деревянной оправе и несколько стульев орехового дерева довершали обстановку. Часы на камине напоминали о днях минувшего довольства. На окне висели белые занавески. Стены были оклеены серыми обоями в серый цветочек. Пол, выкрашенный и натертый Евой, блистал чистотой. Посреди комнаты стоял столик на одной ножке, и на нем, на красном подносе с золотыми роза-

нами, три чашки и сахарница лиможского фарфора. Ева спала в соседней комнатке, где помещались лишь узенькая кровать, старинное покойное кресло и возле окна рабочий столик. Из-за тесноты этой корабельной каюты стеклянную дверь держали постоянно открытой для притока воздуха. Несмотря на нищету, проступавшую в каждой вещи, все тут дышало скромным достоинством трудовой жизни. Кто знал мать и обоих ее детей, тот находил в этом зрелище трогательную гармонию.

Люсьен завязывал галстук, когда в маленьком дворике послышались шаги Давида, и вслед за тем вошел сам типограф торопливой походкой человека, озабоченного поспеть вовремя.

– Ну, Давид, – вскричал честолюбец, – мы восторжествовали! Она меня любит! Ты пойдешь к ней.

– Нет, – смущенно сказал типограф, – я пришел поблагодарить тебя за это доказательство твоей дружбы; ты навел меня на серьезные размышления. Моя жизнь, Люсьен, определилась. Я, Давид Сешар, королевский печатник в Ангулеме, и мое имя можно прочесть на всех стенах, под каждой афишей. Для людей этой касты я ремесленник, даже, пожалуй, купец, но как-никак промышленник, обосновавшийся в улице Болье, на углу площади Мюрье. Покамест у меня нет ни богатства Келлера, ни славы Деплена, двух видов того могущества, которое дворянство пытается еще отрицать, но которое – и в этом я согласен с ними – ничего не стбит без знания света и светских навыков. Чем я могу оправдать такое внезапное возвышение? Я буду посмешищем и буржуа, и дворян. У тебя иное положение! Быть фактором не зазорно. Ты работаешь, чтобы приобрести знания, необходимые для успеха. Ты можешь объяснить свои теперешние занятия интересами будущего. Притом ты можешь завтра же заняться чем-либо другим: изучать право, дипломатию, стать чиновником. Словом, ты не заклемен, не занумерован. Пользуйся же непорочностью своего общественного положения, ступай один и добейся признания! Весело вкушай утехы, пусть даже утехы тщеславия. Будь счастлив! Я буду радоваться твоим успехам, ты будешь моим вторым «я». Да, я мысленно буду жить твоей жизнью. Тебе уготованы пиршества, блеск света, скорые приговоры его суетности. Мне – трезвая трудовая жизнь, мой промысел и усидчивые занятия наукой. Ты будешь нашей аристократией, – сказал он, глядя на Еву. – Ежели ты пошатнешься, в моей руке ты найдешь опору. Ежели тебя огорчит чья-либо измена, ты найдешь приют в наших сердцах, там ты встретишь нерушимую любовь. Покровительства, милости, доброжелательства может не хватить на двоих; как знать, не стали бы мы друг другу помехой? Ступай вперед; ежели понадобится, ты потянешь меня за собою. Я далек от зависти, более того: я себя посвящаю тебе. То, что ты сейчас ради меня сделал, рискуя потерять покровительницу, быть может возлюбленную, лишь бы меня не покинуть, не отречься от меня, этот простой и великий поступок, Люсьен, навеки привязал бы меня к тебе, если бы мы уже не были братьями. Не укоряй себя, не тревожься о том, что тебе, по-видимому, выпала лучшая доля. Раздел в духе Монтгомери в моем вкусе. Наконец, ежели ты и причинишь мне какое-либо огорчение, как знать, не останусь ли я все же в долгу перед тобой? – Произнеся эти слова, он робко взглянул на Еву, на глазах у нее были слезы, ибо она все поняла. – Короче говоря, – сказал он удивленному Люсьену, – ты хорош собою, строен, умеешь носить платье, у тебя аристократическая внешность, даже в этом синем фраке с медными пуговицами и в простых нанковых панталонах; а я в светском обществе буду похож на мастерового, я буду неуклюж, неловок, наговорю глупостей или вовсе ничего не скажу; ты можешь, покорствуя предрассудкам, принять имя твоей матери, назваться Люсьеном де Рюампре; я же был и впредь буду Давидом Сешаром. Всё в твою пользу, а мне всё во вред в том мире, в который ты вступаешь. Ты создан для успехов. Женщины будут обожать тебя за твое ангельское лицо. Не правда ли, Ева?

Люсьен бросился на шею Давиду и расцеловал его. Скромность Давида устраняла многие сомнения, многие трудности. И как было не почувствовать прилива нежности к человеку, из чувства дружбы пришедшему к тем же выводам, которые ему самому были подсказаны често-

любием? Честолюбец и влюбленный почувствовали твердую почву под ногами, сердца друзей расцвели. То было одно из тех мгновений, редких в жизни, когда все силы сладостно напряжены, когда все струны затронуты и звучат полнозвучно. Но эта мудрость прекрасной души еще более пробудила в Люсьене свойственную всем людям склонность все хорошее приписывать себе. Мы все так или иначе говорим, как Людовик XIV: «Государство – это я!» Несравненная нежность матери и сестры, преданность Давида, привычка видеть себя предметом тайных забот этих трех существ развили в нем пороки баловня семьи, породили то себялюбие, пожирающее благородные чувства, на котором г-жа де Баржетон играла, побуждая его пренебречь обязанностями сына, брата, друга. Покуда еще ничего не произошло; но разве не следовало опасаться, что, расширяя круг своего честолюбия, ему придется думать только о себе, чтобы удержаться там?

Волнение улеглось, и тогда Давид заметил Люсьену, что, пожалуй, его поэма «Апостол Иоанн на Патмосе» – чересчур библейская, чтобы ее читать в обществе, которому поэзия Апокалипсиса едва ли очень близка. Люсьен, готовившийся выступить перед самой взыскательной публикой Шаранты, обеспокоился. Давид посоветовал ему взять с собою томик Андре Шенье и заменить удовольствие сомнительное удовольствием несомненным. Люсьен читает превосходно, он, конечно, понравится и притом выкажет скромность, что, без сомнения, послужит ему в пользу. Подобно большинству молодых людей, они наделяли светское общество своими достоинствами и умом. Ежели молодость, покуда она еще ничем себя не опорочила, и беспощадна к чужим проступкам, зато она одаряет всех великолепием своих верований. Поистине надобно запастись большим жизненным опытом, чтобы признать, по прекрасному выражению Рафаэля, что *понять – это значит стать равным*. Чувство, необходимое для понимания поэзии, редко встречается во Франции, потому что французское остроумие быстро осушает источник святых слез восторга и ни один француз не потрудится истолковать возвышенное, вникнуть в его сущность, чтобы постичь бесконечное. Люсьену впервые предстояло испытать на себе невежество и холодность света! Он пошел к Давиду, чтобы взять томик стихотворений.

Когда влюбленные остались одни, Давид пришел в замешательство, какого в жизни еще ему не доводилось испытывать. Волнуемый тысячью страхов, он желал и боялся похвал, он готов был бежать, ибо и скромности не чуждо кокетство! Бедный влюбленный не смел слова вымолвить, чтобы не показалось, будто он напрашивается на благодарность; любое слово казалось ему предосудительным, и он стоял молча, точно преступник. Ева, догадываясь об этих мучениях скромности, наслаждалась его молчанием; но когда Давид начал вертеть в руках шляпу, намереваясь уйти, она улыбнулась.

– Дорогой Давид, – сказала она, – если вы не собираетесь провести вечер у госпожи де Баржетон, мы можем провести его вместе. Погода прекрасная, не хотите ли прогуляться по берегу Шаранты? Побеседуем о Люсьене.

Давид готов был упасть на колени перед очаровательной девушкой. В самом звуке голоса Евы прозвучала нечаянная награда; нежностью тона она разрешила все трудности положения; ее приглашение было более чем похвала, то был первый дар любви.

– Пожалуйста, обождите несколько минут, – сказала она, заметив волнение Давида, – я переоденусь.

Давид, отроду не знавший, что такое мелодия, вышел, напевая, чем весьма удивил почтенного Постэля и вызвал в нем жестокие подозрения насчет отношений Евы и типографа.

Все, вплоть до малейших событий этого вечера, сильно повлияло на Люсьена, по натуре своей склонного отдаваться первым впечатлениям. Как все неопытные влюбленные, он пришел чересчур рано: Луизы еще не было в гостиной. Там находился один г-н де Баржетон. Люсьен начал уже проходить школу мелких подлостей, которыми любовник замужней женщины покупает свое счастье и которые служат для женщин мериллом их власти; но ему еще не случилось оставаться наедине с г-ном де Баржетоном.

Этот дворянин был из породы тех недалеких людей, что мирно пребывают между безобидным ничтожеством, еще кое-что понимающим, и чванной глупостью, уже ровно ничего не желающей ни понимать, ни высказывать. Проникнутый сознанием своих светских обязанностей и стараясь быть приятным в обществе, он усвоил улыбку танцовщика – единственный доступный ему язык. Доволен он был или недоволен, он улыбался. Он улыбался горестной вести, равно как и известию о счастливом событии. Эта улыбка в зависимости от выражения, которое придавал ей г-н де Баржетон, служила ему во всех случаях жизни. Если непременно требовалось прямое одобрение, он подкреплял улыбку снисходительным смешком и удаивал обронить слово только в самом крайнем случае. Но стоило ему остаться с гостем с глазу на глаз, он буквально терялся, ибо тут ему надобно было хоть что-то вытянуть из совершенной пустоты своего внутреннего мира. И он выходил из положения чисто по-детски: он думал вслух, посвящал вас в мельчайшие подробности своей жизни; он обсуждал с вами свои нужды, свои самые незначительные ощущения, что походило, по его мнению, на обмен мыслями. Он не говорил ни о дожде, ни о хорошей погоде, не прибегал в разговоре к общим местам, спасительным для глупцов, он обращался к самым насущным житейским интересам.

– В угоду госпоже де Баржетон я утром покушал телятины – жена ее очень любит – и теперь страдаю желудком, – сказал он. – Вечная история! Знаю, а всегда попадаюсь. Чем вы это объясните?

Или:

– Я велю подать себе стакан воды с сахаром; не угодно ли и вам по сему случаю?

Или:

– Завтра я прикажу оседлать лошадь и поеду навестить тестя.

Короткие фразы не вызвали спора, собеседник отвечал *да* или *нет*, и разговор прерывался. Тогда г-н де Баржетон молил гостя о помощи, вздернув свой нос старого, страдающего одышкой мопса; косоглазый, пучеглазый, он глядел на вас, как бы спрашивая: «Что вы изволили сказать?» Людей докучливых он любил нежно; он выслушивал их с искренним и трогательным вниманием, настолько подкупающим, что ангулемские говоруны признавали в нем скрытый ум и относили на счет злоречия дурное мнение о нем. Оттого-то, когда никто уже не хотел их слушать, они шли оканчивать свой рассказ или рассуждение к нашему дворянину, зная, что будут награждены улыбкой похвалы. Гостиная его жены была постоянно полна гостей, и там он чувствовал себя отлично. Его занимали самые незначительные мелочи: он смотрел, кто входит, кланялся, улыбаясь, и подводил новоприбывавших к жене; он подстерегал уходящих и провожал их, отвечая на поклоны вечной своей улыбкой. Если вечер выдавался оживленный и он видел, что все гости чем-то заняты, он замирал, блаженный, безглагольный, длинноногий, как аист, и молчал так глубокомысленно, точно прислушивался к политической беседе; или же, пристроившись за спиной какого-нибудь игрока, он изучал его карты, ничего в них не понимая, потому что не знал ни одной игры; или он прохаживался, понюхивая табак и отдуваясь после сытного обеда. Анаис была светлой стороной его жизни, она доставляла ему бесконечные радости. Когда она выступала в роли хозяйки дома, он любовался ею, раскинувшись в креслах, потому что она говорила за него; затем для него составляло развлечение вникать в смысл ее слов; а так как обычно на это уходило много времени, смех, который он себе разрешал, напоминал запоздавший взрыв бомбы. Притом его уважение к ней доходило до обожания. А разве обожания недостаточно для счастья? Анаис, как женщина умная и великодушная, не злоупотребляла своим превосходством, поняв, что у ее мужа покладистая ребяческая натура, которая нуждается в руководстве. Она обращалась с ним бережно, как обращаются с плащом: она держала его в опрятности, чистила, заботливо хранила; и, чувствуя, что о нем заботятся, что его чистят, холят, г-н Баржетон платил жене собачьей привязанностью. Так легко дарить другому счастье, когда самому это ничего не стоит! Г-жа де Баржетон, зная, что единственное удовольствие для ее мужа – это хорошо поесть, кормила его отменными обе-

дами. Он возбуждал в ней жалость; никто не слышал, чтобы она жаловалась на мужа, и многие, не понимая горделивого ее молчания, приписывали г-ну де Баржетону скрытые достоинства. Впрочем, она вымуштровала его по-военному, и он беспрекословно повиновался воле жены. Она говорила ему: «Навестите господина такого-то» или «госпожу такую-то», и он шел, как солдат в караул. Недаром перед ней он всегда держался навтыжку, точно стоял на часах. В то время этого молчальника прочили в депутаты. Люсьен слишком недавно стал бывать в доме и еще не приподнял завесы, скрывавшей собою этот необъяснимый характер. Г-н де Баржетон, утопая в своих креслах, казалось, все видел и все понимал, с достоинством хранил молчание и представлял собою чрезвычайно внушительное зрелище. По склонности, свойственной людям с воображением, все возвеличивать или наделять душою любой предмет, Люсьен, вместо того чтобы почесть этого дворянина за каменный столб, возвел его в какие-то сфинксы и рассудил за благо польстить ему.

– Я пришел первым, – сказал он, кланяясь несколько более почтительно, нежели то было принято по отношению к этому простофилю.

– Натурально, – отвечал г-н де Баржетон.

Люсьен счел ответ за колкость ревнивого мужа, он покраснел и оглядел себя в зеркале, стараясь приосаниться.

– Вы живете в Умо, – сказал г-н Баржетон, – кто живет далеко, приходит всегда раньше тех, кто живет близко.

– Что тому причиной? – спросил Люсьен, придавая лицу приятное выражение.

– Не знаю, – отвечал г-н де Баржетон, впадая в свою обычную неподвижность.

– Вы просто не пожелали об этом подумать, – продолжал Люсьен. – Человек, способный сделать наблюдение, способен найти и причину.

– Ах, – произнес г-н де Баржетон, – конечные причины! Эх-хе!..

Люсьен ломал себе голову и не мог придумать, как оживить иссякший разговор.

– Госпожа де Баржетон, видимо, одевается? – сказал он, содрогнувшись от глупости вопроса.

– Да, она одевается, – просто отвечал муж.

Люсьен не нашелся что сказать и, подняв глаза, поглядел на оштукатуренный потолок, пересеченный двумя окрашенными в белый цвет балками; но, к своему ужасу, он увидел, что с небольшой старинной люстры с хрустальными подвесками снят тюль и в нее вставлены свечи. С мебели совлечены чехлы, и малиновый китайский шелк являл взору свои поблекшие цветы. Приготовления возвещали о некоем чрезвычайном собрании. Поэт усомнился в пристойности своего костюма, так как он был в сапогах. Похолодев от смущения, он подошел к японской вазе, украшавшей консоль с гирляндами времен Людовика XV, и стал ее рассматривать; но, опасаясь заслужить немилость мужа своей нелюбезностью, он тут же решил поискать, нет ли у этого человека какого-нибудь конька, которого можно было бы оседлать.

– Вы редко выезжаете из города, сударь? – спросил он, подходя к г-ну де Баржетону.

– Редко.

Молчание возобновилось. Г-н де Баржетон с кошачьей подозрительностью следил за каждым движением Люсьена, который тревожил его покой. Один боялся другого.

«Неужели мои частые посещения внушают ему подозрение? – подумал Люсьен. – Он явно меня не выносит».

К счастью для Люсьена, крайне смущенного взглядами г-на де Баржетона, который встревоженно следил за каждым его шагом, старый слуга, облаченный в ливрею, доложил о дю Шатле. Барон вошел чрезвычайно непринужденно, поздоровался со своим другом Баржетоном и приветствовал Люсьена легким наклоном головы, следуя моде того времени, однако ж поэт отнес эту вольность на счет наглости чиновника казначейства. Сикст дю Шатле был в панталонах ослепительной белизны со штрипками, безукоризненно сохранявшими на них

складку. На нем была изящная обувь и фильдековские чулки. На белом жилете трепетала черная ленточка лорнета. Наконец, в покрое и фасоне черного фрака сказывалось его парижское происхождение. Короче, это был красавец-щеголь, еще не вполне утративший былое изящество; но возраст уже наградил его кругленьким брюшком, при котором довольно трудно было соблюдать элегантность. Он красил волосы и бакены, поседевшие в невзгодах путешествия, а это придавало жесткость его чертам. Цвет лица, когда-то чрезвычайно нежный, приобрел медно-красный оттенок, обычный у людей, воротившихся из Индии; однако его замашки, несколько смешные своею верностью былым притязаниям, изобличали в нем обворожительного секретаря по особым поручениям при ее императорском высочестве. Он вскинул лорнет, оглядел нанковые панталоны, сапоги, жилет, синий фрак Люсьена, сшитый в Ангулеме, – короче сказать, весь внешний облик своего соперника; затем небрежно опустил лорнет в карман жилета, как бы говоря: «Я доволен». Сокрушенный элегантностью чиновника, Люсьен подумал, что он возьмет свое, как только собравшиеся увидят его лицо, одухотворенное поэзией; тем не менее он испытывал тысячу терзаний, еще усиливших тягостное чувство от мнимой неприязни г-на де Баржетона. Барон, казалось, желал подавить Люсьена величием своего богатства и тем подчеркнуть унижительность его нищеты. Г-н де Баржетон, полагавший, что ему уже не придется занимать гостей, был весьма озадачен молчанием, которое хранили соперники, изучавшие друг друга; впрочем, в запасе у него всегда оставался один вопрос, который он приберегал, как приберегают грушу, чтобы утолить жажду, и, когда его терпение истощилось, он почел необходимым прибегнуть к нему, приняв озабоченный вид.

– Смею вас спросить, сударь, – сказал он Шатле, – что слышно? Какие новости?

– Новости? – со злостью отвечал управляющий сборами. – Извольте, вот господин Шардон. Обратитесь к нему. Не припасли ли вы для нас какой-нибудь хорошенький стишок? – спросил резвый барон, оправляя на виске самую крупную буклю, как ему показалось, пришедшую в беспорядок.

– Хорошенький стишок? Чтобы судить, хорош ли он, мне следовало бы посоветоваться с вами, – отвечал Люсьен. – Вы ранее меня начали заниматься поэзией.

– Полноте! Несколько довольно приятных водевилей, сочиненных из любезности, песенки, написанные по случаю, романсы, известные благодаря музыке, послание к сестре Буонапарте (о, неблагодарный!) – все это не дает права на признание потомства.

В ту минуту появилась г-жа де Баржетон во всем блеске обдуманного наряда. На ней был древнееврейский тюрбан с пряжкой в восточном вкусе. Газовый шарф, сквозь который просвечивали камеи ожерелья, грациозно обвивал шею. Платье из разрисованной кисеи, с короткими рукавами, позволяло щегольнуть браслетами, нанизанными на ее прекрасные белые руки. Это театральное одеяние восхитило Люсьена. Г-н дю Шатле учтиво обратился к королеве с самыми пошлыми любезностями, вызвавшими на ее устах улыбку удовольствия, – так счастлива она была, что ее восхваляют в присутствии Люсьена. Со своим милым поэтом она обменялась лишь взглядом, а управляющему сборами отвечала с убийственной вежливостью, исключавшей какую-либо близость.

Тем временем приглашенные начали прибывать. Первыми явились епископ и старший викарий, две достойные и внушительные фигуры, но являвшие собою чрезвычайную противоположность: монсеньор был высок ростом и тощ, его спутник ростом мал и тучен. Глаза у обоих были живые, но епископ был бледен, а багровое лицо старшего викария свидетельствовало о цветущем здоровье. И тот и другой были скупы на жесты и движения. Оба казались людьми осторожными; их сдержанность и молчаливость смущали: они оба слыли людьми большого ума.

За священниками последовали г-жа де Шандур и ее супруг, фигуры столь диковинные, что люди, не жившие в провинции, могут их счесть за порождение писательской фантазии. Г-н де Шандур, именуемый Станиславом, супруг Амели, женщины, считавшей себя соперницей г-

жи де Баржетон, являл собою тип вечного юноши, все еще стройного и шеголеватого, несмотря на свои сорок пять лет и физиономию, напоминавшую решето. Галстук его, повязанный на особый манер, воинственно топорщился, упираясь одним концом в мочку правого уха, другим нависая над красной орденской ленточкой. Полы фрака были чересчур отдернуты назад. Чрезмерный вырез жилета позволял видеть накрахмаленную, стоявшую колом сорочку, застегнутую золотыми вычурными запонками. Короче, все в его одеянии было столь преувеличено, что создавало ему сильное сходство с карикатурой и тот, кто видел его впервые, не мог скрыть улыбки. Станислав непрерывно с самодовольным видом охорашивался, проверял число пуговиц на жилете, следил за волнистой линией бедра, обрисованного панталонами в обтяжку, любовался своими ногами, причем взгляд его влюбленно задерживался на носках лакированных сапог. Когда самосозерцание в этой форме прекращалось, он искал глазами зеркало: он проверял, в должном ли порядке его прическа; заложив пальцы в карман жилета, откинувшись назад, оборотом в три четверти, он счастливым взором вопрошал женщин – петушина повадка, принимавшаяся благосклонно в аристократическом обществе, где он слыл красавцем. Обычно речь его изобиловала непристойностями во вкусе XVIII века. Эта омерзительная манера разговаривать доставляла ему некоторый успех у женщин: он их потешал. Г-н дю Шатле начинал внушать ему беспокойство. И точно, сбитые с толку спесивостью фата из налогового управления, подстрекаемые его жеманными уверениями, что ничто-де не может вывести его из состояния полного равнодушия к жизни, задетые тоном пресыщенного султана, женщины еще усерднее, нежели прежде, искали его благосклонности с тех пор, как г-жа де Баржетон пленилась ангулемским Байроном. Амели была неискусной актрисой; пухленькая, белотелая, черноволосая, с резким голосом, любившая все преувеличить, она ходила павой, украсив свою головку летом – перьями, зимой – цветами; говорунья, она, однако ж, не могла закончить фразы без предательского аккомпанемента астматической одышки.

Господин де Сенто, по имени Астольф, председатель Земледельческого общества, мужчина чрезвычайно румяный, рослый и плотный, плелся за своей женой, достаточно напоминавшей засушенный папоротник; звали ее Лили, уменьшительное от Элизы. Имя, вызывавшее представление о женщине несколько ребячливой, противоречило характеру и манерам г-жи де Сенто, особы напыщенной, крайне набожной, картежницы, придирчивой и вздорной. Астольф слыл первоклассным ученым. Круглый невежда, он тем не менее напечатал в сельскохозяйственном справочнике статьи «Сахар» и «Водка» – два произведения, украденные по кусочкам из разных журнальных статей и чужих сочинений, где шла речь об этих продуктах. Все в департаменте думали, что он работает над трактатом о состоянии современного земледелия, но, хотя он ежедневно просиживал все утро запершись у себя в кабинете, за двенадцать лет он не написал и двух страниц. Если случалось кому-нибудь зайти к нему в кабинет, его всегда заставляли среди вороха бумаг: то он ищет затерявшуюся заметку, то чинит перо; но, сидя в своем кабинете, он попусту растрачивал время: читал неторопливо газету, обрезал пробки перочинным ножом, чертил фантастические рисунки на промокательной бумаге, перелистывая Цицерона, чтобы схватить на лету какую-нибудь фразу или целый отрывок, применимый по смыслу к современным событиям; затем вечером он усердно наводил разговор на тему, позволявшую ему сказать: «У Цицерона есть страница, точно написанная о событиях наших дней». И он приводил цитату из Цицерона, к великому изумлению слушателей, шептавших друг другу: «Астольф и впрямь кладезь премудрости». Любопытный случай разглашался по всему городу и поддерживал лестное мнение о г-не де Сенто.

Вслед за этой четой вошел г-н де Бартá, именуемый Адриеном, мужчина, обладавший густым баритоном и непомерными музыкальными претензиями. Тщеславие понудило его сесть за сольфеджио: он начал с того, что сам восхитился своим пением, потом принялся толковать о музыке и кончил тем, что отдался ей всецело. Музыкальное искусство обратилось для него в настоящую одержимость; он оживлялся, только лишь говоря о музыке, на вечерах он стра-

дал, пока его не попросят спеть. Лишь проревев одну из своих арий, он оживал, приосанивался, приподымался на носках и, принимая поздравления, изображал олицетворенную скромность; однако ж он переходил от одной кучки гостей к другой, пожиная хвалы; потом, когда все уже было сказано, он опять возвращался к музыке и кстати заводил разговор о трудностях спетой арии либо превозносил ее композитора.

Господин Александр де Бребиан, король сепии, рисовальщик, наводнявший комнаты своих друзей нелепыми картинами и измаравший все альбомы в департаменте, сопутствовал г-ну де Барта. Каждый из них шел рука об руку с женой другого. По утверждению скандальной хроники, перемещение было полным. Обе женщины, Лолотта (г-жа Шарлотта де Бребиан) и Фифина (г-жа Жозефина де Барта), равно поглощенные косынками, уборами, подбором цветных шелков, были снедаемы желанием походить на парижанок и пренебрегали своим домом, где все шло прахом. Жены, затянутые, как куклы, в платья, скроенные экономно, представляли собою крикливую выставку красок, оскорбляющих вкус своей нелепой прихотливостью, а их мужья, как натуры артистические, позволяли себе провинциальную вольность в одежде, и вид у них был уморительный. Они, в своих поношенных фраках, смахивали на статистов, изображающих в маленьких театрах высшее общество на великосветской свадьбе.

Среди фигур, появившихся в гостиной, одной из наиболее своеобразных был граф де Сенонш, именуемый по-аристократически просто Жак, страстный охотник, надменный, сухой, с загорелым лицом, любезный как кабан, подозрительный как венецианец, ревнивый как мавр и живший в добром согласии с г-ном дю Отуа, иначе говоря, с Франсисом, другом дома.

Госпожа де Сенонш (Зефирина) была дама статная и красивая, но лицо ее все было в красных пятнах по причине раздражения печени; по той же причине она слыла женщиной взыскательной. Тонкая талия, изящное сложение находились в соответствии с томными манерами, в которых чувствовалось жеманство, но они также изобличали и страсти и прихоти женщины, изнеженной возлюбленным.

Франсис был человек не совсем заурядный; он пренебрег консульством в Валенсии и мечтаниями о дипломатическом поприще ради того лишь, чтобы жить в Ангулеме подле Зефирины, иначе говоря – Зизины. Бывший консул принял на себя заботы о хозяйстве, занимался воспитанием детей, обучал их иностранным языкам и управлял делами г-на и г-жи де Сенонш с полным самоотвержением. Ангулем аристократический, Ангулем чиновный, Ангулем буржуазный долго злословил по поводу полного единства этого брачного союза из трех лиц, но со временем это таинство супружеской троицы представилось столь редкостным и прекрасным, что г-на дю Отуа сочли бы чудовищно безнравственным, ежели бы он вздумал жениться. При этом чрезвычайная привязанность г-жи де Сенонш к ее крестнице, девице де Ляэ, жившей при ней в компаньонках, начинала внушать подозрения насчет существования каких-то волнующих тайн; и, несмотря на явное несоответствие во времени, находили разительное сходство между Франсуазой де Ляэ и Франсисом дю Отуа. Когда Жак охотился в окрестностях Ангулема, каждый помещик считал своим долгом спросить его о здоровье Франсиса, и он рассказывал о недомоганиях своего добровольного управляющего более охотно, нежели о жене. Слепота человека ревнивого казалась столь любопытной, что его лучшие друзья забавлялись, выставляя ее напоказ, и посвящали в тайну тех, кто еще не был посвящен, чтобы и они позабавились. Г-н дю Отуа был изысканный денди, и мелочные заботы о своей особе обратились у него в жеманство и ребячливость. Он обеспокоен был своим кашлем, сном, своим пищеварением и едой. Зефирина превратила своего угодника в болезненного человека: она нежила его, кутала, пичкала лекарствами; она его откармливала отборными яствами, как маркиза свою болонку. Она предписывала либо запрещала то или иное кушанье; она расшивала ему галстуки, жилеты и носовые платки; в конце концов она приучила его носить такие нарядные вещи, что буквально превратила в какого-то японского божка. Согласие их было, впрочем, полным: Зизина по любому случаю взглядывала на Франсиса, а Франсис, казалось, черпал свои мысли в глазах

Зизины. Они порицали, они улыбались одновременно; казалось, они даже советовались друг с другом, прежде чем сказать кому-нибудь «здравствуйте».

Богатейший в округе помещик, человек, возбуждавший всеобщую зависть, маркиз де Пимантель, у которого, считая женино состояние, было сорок тысяч ливров дохода и который по зимам жил с семьей в Париже, приехал с супругой из имения в поместительной коляске, захватив с собою своих соседей – барона и баронессу де Растиньяк, тетку баронессы и двух дочерей, прелестных молодых девушек, хорошо воспитанных, бедных, но одетых с той простотой, которая особенно выделяет природную красоту. Эти люди, составлявшие, несомненно, избранное общество, были встречены ледяным молчанием и почтительностью, исполненной зависти, особенно когда заметили, какой необычный прием оказала новопривывшим г-жа де Баржетон. Оба эти семейства принадлежали к тем немногим в провинции людям, которые стоят выше сплетен, держатся вдали от общества, живут в тихом уединении и хранят величавое достоинство. Г-на де Пимантеля и г-на де Растиньяка, обращаясь к ним, титуловали; никакой близости не существовало между их женами и дочерьми и высшим ангулемским обществом; они были слишком близки к придворной знати, чтобы снисходить к провинциальной мелюзге.

Префект и генерал прибыли последними, им сопутствовал помещик, который утром приносил Давиду свое исследование о шелковичных червях. Он был, конечно, мэром у себя в кантоне, и цензом ему служили его прекрасные земли, но его манеры и платье изобличали, что он редко бывает в обществе: фрак стеснял его, он не знал, куда девать руки; разговаривая, лебезил перед своим собеседником, а отвечая на обращенные к нему вопросы, то привставал, то присаживался; казалось, он только и ждал, чтобы кому-нибудь услужить; то он был до приторности вежлив, то суетлив, то важен, то, услышав шутку, спешил рассмеяться, а слушал он подобострастно, но порой, решив, что над ним потешаются, мрачнел. Несколько раз в вечер, озабоченный своими учеными записками, злосчастный г-н де Севрак пробовал навести разговор на шелковичных червей, но нападал или на г-на Барта, тут же пускавшего в рассуждения о музыке, или на г-на де Сенто, который цитировал ему Цицерона. В самый разгар вечера незадачливый мэр нашел наконец слушательниц в лице вдовы де Броссар и ее дочери, занимавших среди потешных фигур в этом обществе не последнее место. Все может быть сказано в двух словах: бедны они были настолько же, насколько и родовиты. Одежда их говорила о притязании на роскошь и выдавала скрытую нищету. Г-жа де Броссар по любому случаю и чрезвычайно неискусно расхваливала свою крупную и толстую дочь, девицу лет двадцати семи, слышную изрядной музыкантшей; она понуждала ее во всеуслышание разделять вкусы женихов и, желая пристроить свою дорогую Камиллу, могла, смотря по надобности, не переводя дух рассказывать, как по душе ее Камилле и кочевая жизнь военных, и мирная жизнь помещиков, занятых хозяйством. Обе они держались с кисло-сладким видом ущемленного самолюбия, который вызывал чувство жалости, побуждал к участию из себялюбивых соображений и обнаруживал, что обе они познали всю тщету тех пустых фраз, какими свет столь щедро угощает несчастных. Г-ну де Севраку было пятьдесят лет, он был вдов и бездетен; итак, мать и дочь выслушивали с благоговейным восхищением его рассказ о червях и все подробности, какие он почел нужным им сообщить.

– Моя дочь всегда любила животных, – сказала мать. – А ведь мы, женщины, – ценительницы шелков, поэтому нам любопытны ваши червячки, и я почти за счастье побывать в Севраке и показать моей Камилле, как добывается шелк. Камилла такая умница, она сразу все поймет. Право, ей даже удалось как-то понять обратную пропорциональность квадрата расстояний!

Эта фраза блистательно завершила беседу г-на де Севрака и г-жи де Броссар после чтения стихов Люсьеном.

На собрание явилось несколько завсегдатаев дома, а также два-три юнца из хороших семейств, робких, молчаливых, разубранных, как рака с мощами, осчастливленных приглашением на это литературное торжество, притом самый смелый из них разошелся до такой сте-

пени, что вступил в беседование с девицей де Ляэ. Женщины чинно сели в кружок, мужчины выстроились позади. Собрание диковинных фигур в причудливых одеяниях, с размалеванными лицами показалось Люсьену чрезвычайно внушительным. И когда он увидел, что на нем сосредоточены все взоры, сердце стало сильно колотиться у бедного поэта. Как он ни был смел, нелегко было ему выдержать первый искуc, несмотря на поддержку возлюбленной, которая расточала весь блеск своей учтивости и самую обольстительную любезность, оказывая радушный прием ангулемской знати. Смущение Люсьена усиливало одно обстоятельство, которое легко было предвидеть, и, однако ж, оно не могло не взволновать молодого человека, незнакомого с наукой светских интриг. Люсьен, весь обратившийся в зрение и слух, заметил, что Луиза, г-н де Баржетон, епископ и некоторые из угодников хозяйки дома называют его г-ном де Рюампре, большинство же этой внушающей страх публики – г-ном Шардоном. Оробев от вопросительных взглядов любопытствующих, он улавливал свое мещанское имя по одному движению губ; он наперед знал, какие мнения о нем выносились с провинциальной откровенностью, подчас весьма неучливой. От этих постоянных, неожиданных булавочных уколов ему стало еще более не по себе. Он с нетерпением ожидал минуты, чтобы, приняв позу, приличествующую случаю, начать чтение стихов и тем самым прекратить свою внутреннюю пытку; но Жак рассказывал г-же де Пимантель о последней охоте; Адриен беседовал с Лаурой де Растиньяк о новом музыкальном светиле – Россини. Астольф, выучив наизусть статейку с описанием нового плуга, прочитанную им в каком-то журнале, сообщал об этом, как о своем изобретении, барону. Люсьен не знал – бедный поэт! – что ни один из этих умников, исключая г-жу де Баржетон, не мог понять поэзии. Все эти люди, неспособные к сильным чувствам, сошлись на представление, обманываясь в природе ожидаемого зрелища. Есть слова, которые, подобно звуку труб, цимбал, барабана уличных фокусников, всегда привлекают публику. Слова *красота, слава, поэзия* обладают волшебством, чарующим самые грубые души. Когда все избранное общество было наконец в сборе, когда разговоры смолкли, после усердных предупреждений, обращенных к нарушителям тишины со стороны г-на де Баржетона, который, уподобясь церковному привратнику, ударяющему своим жезлом о плиты, исполнял приказания жены, Люсьен, испытывая жестокое душевное потрясение, сел за круглый стол подле г-жи де Баржетон. Он возвестил взволнованным голосом, что, не желая обманывать ничьих ожиданий, прочтет недавно вышедшие в свет стихи неизвестного великого поэта. Хотя стихотворения Андре Шенье были изданы в 1819 году, никто в Ангулеме не слышал об Андре Шенье. Все усмотрели в этом уловку, придуманную г-жой де Баржетон, чтобы пощадить самолюбие поэта и не стеснять слушателей. Люсьен прочел сперва стихотворение «Больной юноша», встреченное лестным шепотом; потом «Слепца», поэму, которую эти посредственные умы нашли чересчур длинной. Во время чтения Люсьен испытывал адские муки, доступные лишь пониманию выдающихся художников либо тех, кого тонкость восприятия и высокий ум ставят в уровень с ними. Поэзия при передаче голосом и восприятии на слух требует благоговейного внимания. Между чтецом и слушателями должна установиться внутренняя связь, без которой не возникнет вдохновляющего общения чувств. Если этого душевного единения нет, поэт уподобляется ангелу, пытающему петь небесный гимн среди зубовного скрежета в аду. Ибо в той области, где развертываются их способности, одаренные люди обладают зоркостью улитки, чутьем собаки и слухом крота; они видят, они чувствуют, они слышат все, что творится вокруг них. Музыкант и поэт мгновенно осознают, восхищаются ли ими или их не понимают; так вянет либо оживает растение в благоприятной или неблагоприятной среде. Шепот мужчин, которые пришли сюда только ради жен и теперь толковали о делах, отдавался в ушах Люсьена по законам этой особой акустики, равно как судорожные движения ртов, раздраемых заразительным зевком, смущали его, точно насмешливая гримаса. Когда, подобно голубю ковчега, он искал спасительного берега, где отдохнул бы его взор, он во встречаемых взглядах подмечал нетерпение; люди, видимо, рассчитывали воспользоваться собранием, чтобы побеседовать о делах более полез-

ных. Исключая Лауру де Растиньяк, двух-трех молодых людей и епископа, все присутствовавшие скучали. В самом деле, тот, кто любит поэзию, возвращает в своей душе семена, брошенные автором в стихи; но равнодушные слушатели, чуждые желания вдыхать душу поэта, не внимали даже звуку его голоса. Люсьен впал в уныние, и холодный пот увлажнил его рубашку. Пламенный взгляд Луизы, когда он к ней оборотился, дал ему мужество дочитать стихи до конца; но сердце поэта истекало кровью, сочившейся из тысячи ран.

– Вы находите, что это очень занимательно, Фифина? – сказала соседке тощая Лили, ожидавшая, возможно, каких-либо балаганных чудес.

– Не спрашивайте моего мнения, душенька: у меня глаза смыкаются, как только начинают читать.

– Надеюсь, Наис не чересчур часто будет угощать нас стихами на своих вечерах, – сказал Франсис. – Когда я слушаю чтение, мне приходится напрягать внимание, а это вредно для пищеварения.

– Бедный котенок, – тихонько сказала Зефирина, – выпейте стакан воды с сахаром.

– Отличная декламация, – сказал Александр, – но я предпочитаю вист.

Услышав этот ответ, сошедший за остроуту благодаря английскому значению слова¹², несколько картежниц высказали предположение, что автор нуждается в отдыхе. Под этим предлогом одна-две пары удалились в будуар. Люсьен по просьбе Луизы, очаровательной Лауры де Растиньяк и епископа вновь возбудил внимание чтением контрреволюционных «Ямбов», вызвавших рукоплескания: многие, не уловив смысла стихов, увлечены были пламенностью чтения. Есть люди, на которых крик действует возбуждающе, как крепкие напитки на грубые глотки. Покамест разносили мороженое, Зефирина послала Франсиса заглянуть в книжку и сказала своей соседке Амели, что стихи, читанные Люсьеном, напечатаны.

– Мудреного нет, – отвечала Амели, и лицо ее изобразило удовольствие, – господин де Рюампре работает в типографии. Ведь это то же самое, – сказала она, глядя на Лолотту, – как если бы красивая женщина сама шила себе платье.

– Он сам напечатал свои стихи, – зашушукались дамы.

– Почему же тогда он называет себя господином де Рюампре? – спросил Жак. – Если дворянин занимается ремеслом, он обязан переменить имя.

– Он и впрямь переменял свое мещанское имя, – сказала Зизина, – но затем, чтобы принять имя матери – дворянки.

– Но ежели вся эта *канитель* напечатана, мы можем и сами прочесть, – сказал Астольф.

Тупость этих людей в высшей степени усложнила вопрос, и Сиксту дю Шатле пришлось объяснить невежественному собранию, что предуведомление Люсьена отнюдь не ораторская уловка и что эти прекрасные стихи принадлежат роялисту Шенье, брату революционера Мари-Жозефа Шенье. Ангулемское общество, исключая епископа, г-жу де Растиньяк и ее двух дочерей, увлеченных высокой поэзией, сочло, что оно одурачено, и оскорбилось обманом. Поднялся глухой ропот, но Люсьен его не слышал. Точно сквозь туман мелькали перед ним лица окружающих, он отрешился от этого пошлого мира и, опьяненный внутренней мелодией, искал ей созвучий. Он прочел мрачную элегию о самоубийстве, элегию в античном вкусе, дышащую возвышенной печалью; затем ту, где есть строфа:

Твои стихи нежны, люблю их повторять.

Он окончил чтение пленительной идиллией, озаглавленной «Неэра».

В сладостной задумчивости, затуманившей ее взор, г-жа де Баржетон сидела, опустив руку, другой рукою в рассеянии играя локоном, забыв о гостях: впервые в жизни она почув-

¹² Whist (по-английски равнозначно русскому «Тсс!») – знак молчания.

ствовала себя перенесенной в родную стихию. Судите же, как некстати потревожила ее Амели, взявшаяся передать ей общее пожелание.

– Наис, мы пришли послушать стихи господина Шардона, а вы преподносите нам напечатанные стихи. Они очень милы, но наши дамы из патриотизма предпочли бы вино собственного изготовления...

– Вы не находите, что французский язык мало пригоден для поэзии? – сказал Астольф управляющему сборами. – По мне, так проза Цицерона во сто раз поэтичнее.

– Настоящая французская поэзия – легкая поэзия, песня, – отвечал Шатле.

– Песня доказывает, что наш язык чрезвычайно музыкален, – сказал Адриен.

– Желала бы я послушать стихи, погубившие Наис, – сказала Зефирина, – но, судя по тому, как была принята просьба Амели, она не расположена показать нам образец.

– Она должна ради собственного блага приказать ему прочесть свои стихи, – сказал Франсис. – Ведь ее оправдание – в талантах этого птенца.

– Вы, как дипломат, устройте нам это, – сказала Амели г-ну дю Шатле.

– Ничего нет проще, – сказал барон.

Бывший секретарь по особым поручениям, искушенный в подобных делах, отыскал епископа и умудрился действовать через него. По настоянию монсеньора Наис пришлось попросить Люсьена прочесть какой-нибудь отрывок, который он помнит наизусть. Быстрый успех барона в этом поручении заслужил ему томную улыбку Амели.

– Право, барон чрезвычайно умен, – сказала она Лолотте.

Лолотта вспомнила кисло-сладкий намек Амели насчет женщин, которые сами шьют себе платья.

– Давно ли вы стали признавать баронов Империи? – отвечала она улыбаясь.

Люсьен пытался однажды обожествить возлюбленную в оде, посвященной ей и озаглавленной как все оды, которые пишут юноши, кончающие коллеж. Ода, столь любовно выношенная, украшенная всей страстью его сердца, представлялась ему единственным произведением, способным поспорить с поэзией Шенье. Бросив порядочно фатовской взгляд на г-жу де Баржетон, он сказал: «К ней». Затем он принял горделивую позу, чтобы произнести это стихотворение, исполненное тщеславия, ибо (в своем авторском самолюбии) он чувствовал себя в безопасности, держась за юбку г-жи де Баржетон. И тут Наис выдала женским взорам свою тайну. Несмотря на привычку повелевать этим миром с высот своего ума, она не могла не трепетать за Люсьена. На ее лице изобразилась тревога, взгляды ее молили о снисхождении; потом она принуждена была потупить глаза, скрывая удовольствие, нараставшее по мере того, как развертывались следующие строфы:

К НЕЙ

Из громоносных сфер, где блещут свет и слава,
Где ангелы поют у трона первых сил,
Где в блеске зиждется Предвечного держава
На сонмах огненных светил,

С чела стирая нимб Божественности мудрой,
Простясь на краткий срок с надзвездной вышиной,
Порою в наш предел на грустный берег земной
Нисходит ангел златокудрий.

Его направила Всевышнего рука,

Он усыпляет скорбь гонимого поэта,
Как ласковая дочь, он тешит старика
Цветами солнечного лета.

На благотворный путь слепца выводит он
И утешает мать животворящим словом,
Приемлет позднего раскаяния стон,
Бездомных наделяет кровом.

Из этих вестников явился к нам один.
Алкающей земле ниспослан Небесами,
В родную высь глядит он из чужих долин
И плачет тихими слезами.

Не светлого чела живая белизна
Мне родину гонца небесного открыла.
Не дивных уст изгиб, не взора глубина,
Не благодати Божьей сила, –

Мой разум просветив, любовь вошла в меня,
Слиянья с божеством искать я начал смело,
Но неприступного архангела броня
Пред ослепленным зазвенела.

О, берегитесь же, иль, горний серафим,
От вас умчится он в надзвездные селенья,
И не помогут вам обеты и моленья, –
Он слуха не преклонит к ним.

– Вы поняли каламбур? – сказала Амели г-ну дю Шатле, обращая на него кокетливый взор.

– Стихи как стихи, мы все их писали понемногу, когда кончали коллеж, – отвечал барон скучающим тоном, приличествующим его роли знатока, которого ничто не удивляет. – Прежде мы пускались в оссиановские туманы. То были Мальвины, Фингалы, облачные видения, воители со звездой на лбу, выходившие из своих могил. Нынче эта поэтическая ветошь заменена Иеговой, систрами, ангелами, крылами серафимов, всем этим райским реквизитом, обновленным словами: *необъятность, бесконечность, одиночество, разум*. Тут и озера, и божественный глагол, некий христианизированный пантеизм, изукрашенный редкостными вычурными рифмами, как *тимпан – тюльпан, восторг – исторг* и так далее. Короче, мы перенеслись в иные широты: прежде витали на севере, теперь на востоке, но мрак по-прежнему глубок.

– Если ода и туманна, – сказала Зефирина, – признание, по-моему, выражено чрезвычайно ясно.

– И кольчуга архангела прозрачна, как кисейное платье, – сказал Франсис.

Пускай правила учтивости и требовали из угождения г-же де Баржетон открытого признания этой оды прелестным произведением, все же женщины, разгневанные тем, что к их услугам нет поэта, готового возвести их в ангельский чин, поднялись со скучающим видом, цедя сквозь зубы: «Восхитительно, божественно, чудесно!»

– Ежели вы меня любите, не хвалите ни автора, ни его ангела, – властным тоном сказала Лолотта своему дороговому Адриену, и тому пришлось подчиниться.

– Право, все это пустые фразы, – сказала Зефирина Франсису. – Любовь – поэзия в действии.

– Вы сказали, Зизина, то, что я думал, но не умел бы выразить так тонко, – отвечал Станислав, самодовольно охорашиваясь.

– Чего бы я не дала, чтобы сбить спесь с Наис, – сказала Амели, относясь к дю Шатле. – Она смеет еще изображать какого-то архангела, точно она выше всех, а сама сводит нас с сыном аптекаря и повивальной бабки, братом гризетки, типографским рабочим.

– Его отец торговал слабительным, жаль, что он не прочистил мозги сыну, – сказал Жак.

– Сын идет по стопам отца, он угостил нас снотворным, – сказал Станислав, приняв пленительнейшую позу. – Снотворное всегда остается снотворным, я предпочел бы нечто другое.

И все, точно сговорясь, старались унижить Люсьена каким-нибудь аристократически насмешливым замечанием. Лили, женщина набожная, почла долгом милосердия преподать вовремя, как она выразилась, назидание Наис, готовой совершить безумие. Дипломат Франсис взялся довести до развязки глупый заговор, представлявший для этих мелких душ занятность драматической развязки и тему для завтрашних пересудов. Бывший консул, мало расположенный драться с юным поэтом, который, услышав оскорбительные слова в присутствии возлюбленной, легко мог вспылить, понял, что надобно сразить Люсьена священным мечом, против которого месть бессильна. Он последовал примеру, который подал ловкий дю Шатле, когда речь зашла о том, чтобы принудить Люсьена прочесть стихи. Он вступил в разговор с епископом и из коварства поддерживал восторги его преосвященства, восхищенного одой Люсьена; затем он стал картинно описывать, как мать Люсьена, женщина выдающаяся, но чрезвычайно скромная, внушает сыну темы всех его сочинений. Для Люсьена величайшее удовольствие видеть, что его обожаемой матери воздают должное. Затронув воображение епископа, Франсис положился на случай, который предоставил бы монсеньору повод в разговоре обмолвиться подсказанным ему обидным намеком. Когда Франсис и епископ опять приблизились к кружку, в центре которого находился Люсьен, внимание людей, уже понудивших его испить цикуты, возросло. Не обладая навыками света, бедный поэт глаз не отводил от г-жи де Баржетон и неловко отвечал на неловкие вопросы, с которыми к нему адресовались. Он не знал ни имени, ни титулов большинства присутствовавших и не умел поддержать разговора с женщинами, которые болтали всякий вздор, приводивший его в смущение. Притом он чувствовал себя на тысячу лье от этих ангулемских богов, именовавших его то г-ном Шардоном, то г-ном де Рюампре, между тем как друг друга они называли Лолоттой, Адриеном, Астольфом, Лили, Фифиной. Смущение Люсьена возросло до крайности, когда, приняв Лили за мужское имя, он назвал господином Лили грубого г-на де Сенонша. Немврод оборвал Люсьена, переспросив: «Что вам угодно, *господин Люлю?*» – причем г-жа де Баржетон покраснела до ушей.

– Надобно быть совершенно ослепленной, чтобы принимать у себя и представлять нам этого шелкопера! – сказал г-н де Сенонш вполголоса.

– Маркиза, – сказала Зефирина г-же де Пимантель шепотом, но так, чтобы все ее слышали, – не находите ли вы, что между господином Шардоном и господином де Кант-Круа разительное сходство?

– Сходство совершенное, – улыбаясь, отвечала г-жа де Пимантель.

– Слава очаровывает, и в том не грех признаться, – сказала г-жа де Баржетон маркизе. – Одних женщин пленяет величие, других – ничтожество, – прибавила она, взглянув на Франсиса.

Зефирина не поняла намека, ибо считала своего консула мужчиной весьма изрядных качеств; но маркиза приняла сторону Наис и рассмеялась.

– Вы чрезвычайно счастливы, сударь, – сказал Люсьену г-н де Пимантель, желавший найти повод назвать его де Рюампре, после того как ранее назвал Шардоном, – вы, верно, никогда не скучаете?

– А вы быстро работаете? – спросила Лолотта таким тоном, каким сказала бы столяру: «Как скоро вы можете смастерить ящик?»

Люсьен был ошеломлен таким предательским ударом, но он поднял голову, услышав веселый голос г-жи де Баржетон:

– Душа моя, поэзия не произрастает в голове господина де Рюбампре, как трава в наших дворах.

– Сударыня, – сказал епископ Лолотте, – безмерным должно быть наше уважение к благородным умам, озаренным сиянием лучей Господних. Поистине поэзия – святое дело. Да, творить – это значит страдать. Скольких бессонных ночей стоили строфы, которыми вы только что восхищались! Почтите поэта своей любовью; чаще всего он несчастен в жизни, но Всевышним ему, без сомнения, уготовано место на небесах среди пророков. Этот юноша – поэт, – прибавил он, возлагая руку на голову Люсьена. – Неужто вы не видите на его прекрасном челе печати высокой судьбы?

Обрадованный столь благородным заступничеством, Люсьен поблагодарил епископа нежным взглядом, не ведая, что достойный прелат скоро станет его палачом.

Госпожа де Баржетон метала во вражеский стан торжествующие взгляды, которые, точно копыя, вонзались в сердца ее соперниц, разжигая их ярость.

– Ах! Ваше высокопреосвященство, – отвечал поэт, надеясь поразить эти тупоумные головы своим золотым скипетром, – люди в большинстве лишены и вашего ума, и вашего человеколюбия. Наши горести им чужды, наши труды недоступны их пониманию. Рудокопу легче добыть золото из недр земли, нежели нам извлечь наши образы из недр языка, наиболее неблагодарного. Ежели назначение поэзии в том, чтобы вознести мысль на те высоты, откуда она будет видна и доступна людям, поэт должен беспрестанно учитывать возможности человеческого разума, чтобы удовлетворить всех; ему надобно таить под самыми яркими красками логику и чувство, две силы, враждебные друг другу; ему надлежит вместить в одно слово целый мир мыслей, представить в одном образе целые философские системы; короче, его стихи лишь семена, которые сулят цветами расцвести в сердцах, отыскав в них борозды – следы наших сокровенных чувств. Неужто, чтобы все изобразить, не надобно все перечувствовать? И живо чувствовать – не значит ли страдать? Потому-то стихи и рождаются лишь после мучительных блужданий по обширным областям мысли и общества. Разве не бессмертны труды, коим мы обязаны творениями, жизнь которых более близка нам, нежели жизнь существ, действительно живших на земле, как то: *Кларисса* Ричардсона, *Камилла* Шенье, *Делия* Тибулла, *Анжелика* Ариосто, *Франческа* Данте, *Альцест* Мольера, *Фигаро* Бомарше, *Ребекка* Вальтера Скотта, *Дон Кихот* Сервантеса!

– А что вы нам создадите? – спросил дю Шатле.

– Возвещать о такого рода замыслах, – отвечал Люсьен, – не значит ли выдать обязательство в гениальности? К тому же рождение столь блистательных созданий требует большого житейского опыта, изучения страстей и пристрастий человеческих, чего я еще не мог достичь. Но начало мною уже положено! – с горечью сказал он, метнув в аристократический кружок мстительный взгляд. – Мысль вынашивается медленно...

– Трудными будут роды, – сказал г-н дю Отуа, прерывая его.

– Ваша добрая мать поможет вам, – сказал епископ.

При этих словах, столь искусно подсказанных, при этом отмщении, столь желанном, глаза у всех заискрились от радости. У каждого на устах скользнула улыбка аристократического удовлетворения, подчеркнутая запоздалым смехом слабоумного г-на де Баржетона.

– Ваше высокопреосвященство, вы чересчур остроумны для нас, дамы вас не поняли, – сказала г-жа де Баржетон, и ее слова оборвали смех и привлекли к ней удивленные взоры. – Поэту, черпающему свои вдохновенные образы в Библии, истинной матерью является Церковь.

Господин де Рюбампре, прочтите нам «Апостола Иоанна на Патмосе» или «Пир Валтасара», надобно показать его высокопреосвященству, что Рим и поныне Magna parens¹³ Вергилия.

Женщины обменялись улыбками, когда Наис произнесла два латинских слова.

Вступая в жизнь, и самые самонадеянные порою поддаются унынию. От нанесенного удара Люсьен пошел было ко дну; но он оттолкнулся ногой и всплыл на поверхность, поклявшись покорить этот кичливый свет. Точно бык, пронзенный сотней стрел, он вскочил, взбешенный, и готов был, повинувшись желанию Луизы, прочесть «Апостола Иоанна на Патмосе», но уже карточные столики приманили игроков, и они, войдя в привычную колею, смаковали удовольствие, какого не могла им дать поэзия. Притом месть стольких раздраженных самолюбий не была бы полной, если бы гости не выразили своего презрительного отношения к домощенной поэзии бегством от общества Люсьена и г-жи де Баржетон. У всех оказались свои заботы: тот повел беседу с префектом об окружной дороге; этот высказал желание развлечься ради разнообразия музыкой. Ангулемская знать, чувствуя себя плохим судьей в поэзии, особенно любопытствовала узнать, какого мнения о Люсьене Растиньяки и Пимантели, и вокруг них образовался кружок. Высокое влияние, которым в округе пользовались эти две семьи, в особо важных случаях всегда признавалось: все им завидовали и все за ними ухаживали, ибо каждый предвидел, что их покровительство может ему понадобиться.

– Какого вы мнения о нашем поэте и его поэзии? – обратился Жак к маркизе, в имени которой он охотился.

– Что ж, для провинциальных стихов они недурны, – сказала она с улыбкой. – Впрочем, поэт так хорош собою, что ничего не может делать дурно.

Все нашли приговор восхитительным и подхватили это суждение, влагая в него более злой смысл, нежели того желала маркиза. Дю Шатле, уступая просьбам, согласился аккомпанировать г-ну де Барта, и тот зарезал коронную арию Фигаро. Поскольку уже были открыты двери для музыки, пришлось выслушать в исполнении дю Шатле и рыцарский романс, сочиненный Шатобрианом во времена Империи. Затем последовали пьесы в четыре руки, разыгранные *девочками* по настоянию г-жи де Броссар, желавшей блеснуть перед г-ном де Севраком талантом своей дорогой Камиллы.

Госпожа де Баржетон, оскорбленная пренебрежением, которое каждый выказывал ее поэту, воздала презрением за презрение, удалившись в свой будуар на все время, покуда занимались музыкой. За ней последовал епископ, которому старший викарий объяснил глубокую иронию его невольной колкости, и он желал искупить свою вину. Лаура де Растиньяк, плененная поэзией, проскользнула в будуар тайком от матери. Усевшись на канapé со стеганым тюфячком и усадив подле себя Люсьена, Луиза сказала ему на ухо, и никто того не заметил и не услышал:

– Милый ангел, они тебя не поняли! Но...

Твои стихи нежны, люблю их повторять.

Люсьен, утешенный лестью, забыл на короткое время о своих горестях.

– Слава не дается даром, – сказала г-жа де Баржетон, пожимая ему руку. – Терпите, терпите, мой друг, вы будете великим человеком; ценою мучений вы обретете бессмертие. Я желала бы испытать всю тяжесть борьбы. Храни вас Бог от жизни тусклой, лишенной бурь, в ней нет простора для взмаха орлиных крыльев. Я завидую вашим страданиям: вы, по крайней мере, живете! Вы развернете свои силы, вас воодушевит надежда на победу. Ваша борьба будет славной. Когда вы вступите в царственную сферу, где властвуют высокие умы, вспомните о несчастных, обездоленных судьбою, чей ум изнемогает, задыхаясь в удушливой атмосфере.

¹³ Великая мать (лат.).

сфере нравственного азота; о тех, кто погибает, сознавая постоянно, как хороша жизнь, но не имеет возможности жить; о тех, кому даны зоркие глаза, но они так ничего и не увидели; о тех, кто рожден с тонким обонянием, но вдыхал лишь запах ядовитых растений. Воспойте тогда цветок, что вянет в чаще лесной, задушенный лианами, жадными, буйно разросшимися травами, не обласканный солнцем, зачахнувший, не успев расцвести! Ужели это не поэма жестокой печали, не сюжет совершенной фантазии? Какая возвышенная задача – изобразить юную девушку, рожденную под небом Азии, или дочь пустыни, заброшенную в какую-нибудь страну холодного Запада: она призывает возлюбленное солнце, умирая от неизреченной тоски, равно убитая холодом и любовью! То был бы образ многих существований.

– Тем самым вы изобразили бы душу, тоскующую о небесах, – сказал епископ. – Некогда подобная поэма, несомненно, существовала, и я утешаюсь мыслью, что Песнь песней – один из ее отрывков.

– Напишите такую поэму, – сказала Лаура де Растиньяк, выражая наивную веру в гений Люсьена.

– Франции недостает серьезной духовной поэмы, – сказал епископ. – Поверьте мне: слава и богатство будут наградой талантливому человеку, который потрудится ради религии.

– Он напишет, ваше высокопреосвященство, – сказала г-жа де Баржетон с воодушевлением. – Разве идея поэмы не забрезжила уже как пламя зари в его глазах?

– Наис пренебрегает нами, – сказала Фифина. – Что она там делает?

– Разве вы не слышите? – отвечал Станислав. – Она оседлала своего конька и выезжает на громких фразах, у которых нет ни головы, ни хвоста.

Амели, Фифина, Адриен и Франсис появились в дверях будуара вслед за г-жой де Растиньяк, которая искала дочь, собравшись уезжать.

– Наис, – заговорили сразу обе дамы, восхищенные случаем нарушить уединение будуара, – будьте так милы, сыграйте нам что-нибудь!

– Душеньки, – отвечала г-жа де Баржетон, – господин де Рюампре прочтет нам «Апостола Иоанна на Патмосе», дивную библейскую поэму.

– Библейскую! – удивленно повторила Фифина.

Амели и Фифина воротились в гостиную, принеся туда это слово как пищу для насмешек. Люсьен уклонился от чтения поэмы, сославшись на слабую память. Когда он снова появился в гостиной, он уже ни в ком не возбудил ни малейшего интереса. Каждый был занят беседой или игрой. Лучи поэтического ореола померкли: землевладельцы не видели в нем никакого проку; люди с большими претензиями опасались Люсьена, чувствуя в нем силу, враждебную их невежеству; женщины, завидуя г-же де Баржетон, Беатриче этого новоявленного Данте, как выразился старший викарий, обдавали его ледяным презрением.

«Вот каков свет!» – думал Люсьен, спускаясь в Умо по склонам Болье, ибо бывают в жизни минуты, когда предпочитаешь путь более долгий, чтобы движением поддержать ход мыслей, теснящихся в голове, и отдаться их потоку. Ярость непризнанного честолюбца отнюдь не обескуражила Люсьена, но придала ему новые силы. Как все люди, вовлеченные инстинктом в высшие сферы прежде, чем они обретут возможность там удержаться, он давал себе клятву пожертвовать всем, лишь бы упрочить свое положение в обществе. Он шел и попутно извлекал одну за другой отравленные стрелы, вонзившиеся в него; он громко говорил с самим собою; он бранил глупцов, с которыми только что столкнулся; он находил колкие ответы на глупые вопросы, которые ему предлагались, и это запоздалое остроумие повергало его в отчаяние. Когда он вышел на дорогу, ведущую в Бордо, что змейкой вилась у подножия горы вдоль берега Шаранты, ему почудилось при лунном свете, как будто у самой реки, на бревне, неподалеку от фабрики, сидят Ева и Давид, и он спустился к ним по тропинке.

Покуда Люсьен спешил на пытку, ожидавшую его в доме г-жи де Баржетон, его сестра надела розовое перкалевое платье в мелкую полоску, соломенную шляпу и шелковую косынку;

в этом простом одеянии она казалась нарядной, что обычно случается с людьми, природное благородство которых сообщает прелесть любому пустяку в их одежде. Потому-то Давид чрезвычайно робел перед нею, когда она сбрасывала с себя рабочую блузу. Хотя типограф решил поговорить о своих чувствах, все же он не знал, что сказать, когда рука об руку с прекрасной Евой шел по улицам Умо. Любви сладостен этот благоговейный страх, сходный со страхом верующих перед величием Божиим. Влюбленные шли молча к мосту Сент-Анн, направляясь на левый берег Шаранты. Ева, тяготясь молчанием спутника, остановилась на середине моста, откуда открывался вид на пороховой завод, чтобы полюбоваться на реку, раскинувшуюся широкой своей гладью, на которую заходящее солнце в ту минуту бросило лучистую веселую дорожку.

– Прекрасный вечер! – сказала она в поисках темы для разговора. – Воздух и теплый и свежий, цветы благоухают, небо чудесное.

– Все говорит сердцу, – отвечал Давид, пытаясь путем сравнений перейти к своей любви. – Для любящих бесконечное наслаждение находить в причудливости пейзажа, в прозрачности воздуха, в ароматах земли ту поэзию, что скрыта в их душе. Природа говорит за них.

– И развязывает им язык, – сказала Ева, смеясь. – Вы были так молчаливы, покамест мы шли по Умо. Знаете ли, я была просто смущена...

– Я был поражен вашей красотой, – отвечал простодушно Давид.

– Стало быть, теперь я менее красива? – спросила она.

– О нет! Но я так счастлив, гуляя с вами вдвоем, что...

Он остановился в совершенном смущении и стал смотреть на холмы, по которым спускается дорога в Сент.

– Я очень рада, если наша прогулка доставляет вам хоть какое-то удовольствие: вы из-за меня пожертвовали нынешним вечером и я у вас в долгу. Отказавшись пойти к госпоже де Баржетон, вы поступили так же великодушно, как и Люсьен, рисковавший разгневать ее своей просьбой.

– Не великодушно, а благоразумно, – отвечал Давид. – Мы тут одни под небесами, и нет иных свидетелей, кроме камышей и прибрежных кустов Шаранты, так позвольте мне, дорогая Ева, поделиться с вами своей тревогой, и причина тому – теперешнее поведение Люсьена. После того, что я ему сегодня высказал, вы, надеюсь, объясните мои опасения лишь чуткостью дружбы. Вы с вашей матушкой сделали все, чтобы поставить Люсьена выше его положения; но, льстя его тщеславию, не обрекли ли вы его неосмотрительно на великие муки? Откуда он возьмет средства, чтобы возвращаться в свете, куда влекут его желания? Я знаю его! Он из тех натур, что любят пожинать плоды, не прилагая к тому труда. Светские обязанности поглощают все его время, а время – единственное достояние тех, у кого весь капитал – это их ум. Он любит блистать, соблазны света разожгут в нем желания, а удовлетворить их неостанет никаких средств, он станет проматывать деньги, а зарабатывать их не будет; вы приучили его к мысли, что он великий человек; но прежде, нежели признать чье-либо превосходство, свет требует блистательных успехов. Литературные же успехи даются лишь уединением и упорным трудом. Чем возместит г-жа де Баржетон вашему брату те долгие часы, что он провел у ее ног? Люсьен слишком горд, чтобы принимать помощь от женщины, а мы знаем, что он еще чересчур беден, чтобы бывать в ее обществе, притом вдвойне опустошающем. Рано или поздно эта женщина бросит вашего милого брата, но прежде она внушит ему пренебрежение к труду, привьет вкус к роскоши, презрение к нашей скромной жизни, любовь к наслаждениям, склонность к праздности – этому распутству поэтических душ. Неужто знатная дама забавляется Люсьеном, как игрушкой? Я трепещу при одной этой мысли. Но может быть, она любит его? Ну, тогда он бросится к ее ногам очертя голову. А если она его не любит? Какое это будет несчастье, ведь он от нее без ума!

– Сердце леденеет от ваших слов, – сказала Ева, остановившись у плотины, преграждавшей течение Шаранты. – Но куда у матери достанет сил заниматься ее тяжелым трудом и куда я жива, мы, может быть, как-нибудь прокормим Люсьена, а там он станет на свои собственные ноги. Мне грешно унывать, – сказала Ева с воодушевлением, – когда трудишься для любимого существа, как можно поддаваться унынию и отчаянию? Стоит только вспомнить, ради кого терпишь такие муки, если только это можно назвать муками, и сердце радуется. О, не бойтесь, мы заработаем достаточно, Люсьен будет принят в свете. Там его счастье.

– Там и его гибель, – возразил Давид. – Выслушайте меня, дорогая Ева. Чтобы создать гениальное произведение, требуется не только настойчивость, но и время, а для этого надобно обладать или солидным состоянием, или мужеством глядеть открыто в глаза вопиющей нищете. Видите ли, Люсьен так страшится нужды, он так упивается ароматами пиршеств, хмелем успехов, его самолюбие так возросло в будуаре госпожи де Баржетон, что он испробует все средства, лишь бы не быть отлученным; и вам, с вашим заработком, не угнаться за его прихотями.

– Стало быть, вы не настоящий друг! – вскричала Ева горестно. – Иначе вы не стали бы нас так разочаровывать!

– Ева! Ева! – отвечал Давид. – Я желал бы быть братом Люсьена. И вы одна можете дать мне это право, которое позволит ему принимать от меня любую помощь, а мне позволит посвятить ему свою жизнь с тою же святой любовью, с какою вы идете на все жертвы ради него, но я иду на это как рассудительный человек. Ева, моя дорогая, любимая, не в вашей ли власти предоставить Люсьену сокровищницу, откуда он мог бы черпать не смущаясь? Разве кошелек брата не то же, что собственный? Ежели бы вы знали, на какие мысли наводит меня новое положение Люсьена! Мальчик желает бывать у госпожи де Баржетон? Стало быть, ему не пристало работать у меня фактором, не пристало жить в Умо, вам не пристало работать мастерицей, вашей матушке не пристало заниматься своим ремеслом. Если бы вы согласились стать моей женой, все бы уладилось. Люсьен мог бы жить у меня в мансарде, куда я не отдаю ему помещение над пристройкой в конце двора, в случае ежели отец не пожелает вывести над домом третий этаж. Мы создали бы ему жизнь беззаботную, жизнь независимую. Желание поддержать Люсьена придаст мне решимость разбогатеть, а ради себя одного мне ее недоставало; но от вас зависит дать мне право на такую преданность. Может быть, наступит день, когда он поедет в Париж, единственное место, где он может действовать и где его таланты будут оценены и вознаграждены. Жизнь в Париже дорога, и даже втроем нам все же трудно будет его там содержать. Притом разве вы и ваша матушка не будете нуждаться в опоре? Дорогая Ева, будьте моею женой из любви к Люсьену. Может быть, позже вы полюбите меня, когда увидите, как я стремлюсь помочь ему и сделать вас счастливой. Мы оба скромны в своих вкусах, мы удовольствуемся малым; счастье Люсьена будет главной нашей заботой, и его сердце будет той сокровищницей, в которую мы вложим состояние, чувство, мечтания – все!

– Условности нас разделяют, – сказала Ева, растроганная самоуничижением этой великой любви. – Вы богаты, а я бедна. Надобно сильно любить, чтобы стать выше подобных преград.

– Стало быть, вы меня еще недостаточно любите? – вскричал Давид, сраженный.

– Как знать, не воспротивится ли ваш отец...

– Отлично, отлично, – отвечал Давид. – Ежели дело только в моем отце, вы будете моей женой. Ева, моя милая Ева, благодаря вам я уже не чувствую тяжести жизни. Увы, я не мог и не умел выразить своих чувств, и это мучило меня. Скажите, любите ли вы меня хоть немного? И я найду в себе мужество, чтоб поведать вам свои мечты.

– Право, вы меня совсем смутили; но раз мы поверяем друг другу наши чувства, признаюсь вам, что никогда в жизни я не думала ни о ком, кроме вас. Вы для меня были человеком, принадлежать которому честь для любой женщины, и я, простая, бедная мастерица, не смела надеяться на столь высокую судьбу.

– Полноте, полноте, – сказал он, садясь на перекладину плотины, к которой они опять подошли; они ходили взад и вперед, как безумные, по одному и тому же пространству.

– Что с вами? – сказала она, проявляя впервые то милое беспокойство, которое испытывают женщины, тревожась о близком им существе.

– Мне хорошо... – сказал он. – Мысль, что жизнь обещает счастье, как бы ослепляет разум, подавляет душу. Почему я чувствую себя счастливее, нежели вы? – сказал он с грустью. – Впрочем, я знаю почему!

Ева взглянула на Давида кокетливо и вопросительно, как бы вызывая на объяснение.

– Милая Ева, я получаю больше, нежели даю. И я всегда буду любить вас сильнее, нежели вы меня, потому что у меня более причин любить вас: вы ангел, а я простой смертный.

– Я не такая ученая, как вы, – улыбаясь, отвечала Ева. – Я вас очень люблю...

– Так же, как Люсьена? – сказал он, прерывая ее.

– Достаточно, чтобы стать вашей женой, чтобы всецело посвятить себя вам и постараться ничем не огорчать вас в нашей общей жизни, и без того она будет нелегкой на первых порах.

– А вы заметили, милая Ева, что я полюбил вас с первой же нашей встречи?

– Какая женщина не почувствует, что ее любят? – спросила она.

– Позвольте мне рассеять сомнения, внушенные вам моим мнимым богатством. Моя милая Ева, я беден. Да, мой отец с легкой душой меня разорил; он строил свои расчеты на моем труде; он поступал со мною, как поступают с должниками многие так называемые благодетели. Ежели я разбогатею, то лишь благодаря вам. Это не слова влюбленного, но плод зрелых размышлений. Я должен вам открыться в своих недостатках, они огромны для человека, которому необходимо составить себе состояние. По своей натуре, привычкам, занятиям, к которым меня влечет, я плохой коммерсант и делец; однако же разбогатеть мы можем только на каком-либо промышленном предприятии. Если я и способен открыть золотиносную жилу, я решительно не способен ее разработать. А вы, вы из любви к брату не пренебрегали никакими житейскими мелочами, вы сумеете быть бережливой, полной терпения, осмотрительной, как истый коммерсант. Вы и пожнете то, что я посею. Наше положение – уже давно я причисляю себя к вашей семье – настолько угнетало меня, что я дни и ночи ломал себе голову, как бы нам разбогатеть. Знания в области химии и изучение нужд рынка натолкнули меня на ценное изобретение. Покамест я остерегусь что-либо обещать, я предвижу чересчур большие трудности. Как знать, не придется ли нам потерпеть еще несколько лет? И все же я найду способы производства, над изысканием которых тружусь не я один, но, если я открою их первым, нам обеспечено огромное состояние. Я ничего не говорил Люсьену: у него горячая голова; пожалуй, еще навредишь ему; он сочтет мои мечтания за действительность, станет жить по-барски и, чего доброго, еще войдет в долги. Поэтому храните мою тайну. Ваша нежность, ваша бесценная для меня близость – вот единственное, что может утешить меня в этих длительных испытаниях, а желание, чтобы вы и Люсьен жили в роскоши, придаст мне твердости и настойчивости...

– Я так и подозревала, – сказала Ева, прерывая его, – вы один из тех изобретателей, которым, как и моему бедному отцу, нужна заботливая жена.

– Стало быть, вы меня любите! Ах, не бойтесь сказать это мне, ведь для меня ваше имя – символ любви. Ева была единственной женщиной во всем мире, и то, что было для Адама материальной истиной, для меня истина нравственная. Боже мой! Ужели вы меня любите?

– Да-а, – сказала она, как-то по-детски растягивая это простое слово, словно желала выразить этим всю полноту своего чувства.

– Сядемте тут, дорогая, – сказал он, взяв Еву за руку и подводя ее к длинной балке, лежавшей почти у самых колес бумажной фабрики. – Дайте мне подышать вечерним воздухом, послушать кваканье лягушек, полюбоваться трепетным отражением луны на водной глади; дайте мне вобрать в себя всю природу, где каждая былинка дышит моим счастьем! Впервые природа предстает передо мною во всем своем великолепии, озаренная любовью, украшенная

вами... Ева, моя возлюбленная! Вот оно, первое мгновение ничем не омраченной радости, дарованное мне судьбой! Не думаю, чтобы Люсьен был так счастлив, как я!

Почувствовав дрожащую руку Евы в своей руке, Давид уронил слезу.

– Нельзя ли мне узнать тайну? – ласково спросила Ева.

– Вы имеете на то право, потому что и вашего отца занимал этот вопрос, приобретающий теперь такую важность. И вот почему: с падением Империи почти во всеобщее употребление войдет бумажное белье благодаря дешевизне бумажной ткани в сравнении с полотняной. В настоящее время бумага еще вырабатывается из пенькового и льняного лоскута, однако ж это дорогое сырье, и дороговизна его замедляет широкое развитие книгопечатания, а оно неизбежно для Франции. Но приток тряпья нельзя увеличить искусственно. Тряпье накапливается по мере износа белья, и население любой страны предоставляет его лишь в определенном количестве. Это количество может возрасти лишь с увеличением рождаемости. Для того чтобы изменение в количестве народонаселения страны стало ощутимым, понадобится четверть века и подлинный переворот в нравах, в торговле или сельском хозяйстве. Итак, если потребность бумажной промышленности в тряпье уже теперь превышает вдвое и втрое то количество его, которым располагает Франция, надобно пользоваться при изготовлении бумаги не лоскутом, а каким-либо иным сырьем. Выводы эти основаны на фактах, которые мы наблюдаем: ангулемские бумажные фабрики последние, где бумага еще изготавливается из льняного тряпья; и мы видим, что потребность фабрик в хлопчатобумажном тряпье, из которого составляется масса, возрастает в ужасающих размерах.

На вопрос юной мастерицы, что он подразумевает под словом *масса*, Давид вошел в разъяснения относительно бумажного производства, и его соображения не будут неуместны в производстве, обязанном своим материальным бытием в той же мере бумаге, как и печатному станку; но это длинное отступление в беседе влюбленных только выиграет, если мы вкратце изложим его сущность.

Бумага, изобретение не менее чудесное, чем книгопечатание, для которого она служит основой, была известна с давних времен в Китае, откуда по тайным руслам торговли она проникла в Малую Азию, где, по некоторым преданиям, уже в 750 году существовала бумага из хлопка, переработанного в жидкую массу. Необходимость чем-либо заменить непомерно дорогой пергамент натолкнула на изобретение по образцу *бомбицины* (так на Востоке называлась хлопчатая бумага) бумаги тряпичной; одни утверждают, что это изобретение было сделано в Базеле, в 1170 году, выходцами из Греции; другие говорят, что в Падуе, в 1301 году, итальянцем по имени Пакс. Итак, развитие бумажного производства шло медленно, и история его покрыта мраком; достоверно лишь, что уже при Карле VI в Париже вырабатывалась бумажная масса для игральнх карт. Когда бессмертные Фауст, Костэр и Гутенберг изобрели книгу, ремесленники, столь же малоизвестные, как и многие великие мастера той эпохи, приспособили производство бумаги к нуждам книгопечатания. Пятнадцатый век, столь могучий и столь наивный, наложил отпечаток наивности той эпохи не только на названия различных форматов бумаги, но и на названия шрифтов. *Виноград*, *Иисус*, *голубятня*, *горшок*, *щит*, *раквина*, *корона* – все эти сорта бумаги получили свое наименование в соответствии с водяными знаками, оттиснутыми посредине листа и изображающими виноградную кисть, лик Спасителя, корону, щит, горшок; позже, при Наполеоне, водяной знак на листе бумаги изображал орла: отсюда название бумаги *большой орел*. Шрифты же *цицера*, *Блаженный Августин*, *большой канон* получили свои названия по церковным книгам, сочинениям богословов, трактатам Цицерона, для напечатания которых эти шрифты впервые были применены. Курсив был введен Альдами в Венеции: отсюда и его название – *италик*. До изобретения машин для производства механическим способом бумаги неограниченной длины самыми крупными форматами были *большой Иисус* или *большая голубятня* – последний служил главным образом для атласов и гравюр. Обычно формат печатной бумаги зависел от размеров доски печатного станка. В ту пору когда Давид

говорил об этом, существование рулонной бумаги представлялось во Франции несбыточной мечтой, хотя Дени Робер д'Эссон, примерно в 1799 году, изобрел для механического производства бумаги машину, которую позже Дидо-Сен-Леже пытался усовершенствовать. Веленевая бумага, изобретенная Амбруазом Дидо, стала известна лишь в 1780 году. Этот беглый обзор неопровержимо доказывает, что все великие достижения промышленности и науки осуществлялись путем неприметного накопления опыта, с необычайной медлительностью, точь-в-точь как происходят все процессы развития в природе. На пути к совершенству письменность – а возможно, и язык!.. – шли ощупью, так же как книгопечатание и бумажное производство.

– По всей Европе тряпичники собирают ветошь, изношенное белье и скупают лоскут различных тканей, – сказал в заключение типограф. – Лоскут сортируется и поступает на склады тряпичников-оптовиков, снабжающих бумажные фабрики. Чтобы дать вам понятие о размерах этой торговли, скажу, что банкир Кардон, владелец бумажных фабрик в Бюже и Лангле, где Леорье де Лиль в тысяча семьсот семьдесят шестом году пытался разрешить проблему, над которой трудился ваш отец, затеял в тысяча восемьсот четырнадцатом году тяжбу с неким Прустом из-за просчета в весе тряпья на два миллиона фунтов, при накладной на десять миллионов фунтов, короче сказать, на сумму около четырех миллионов франков. Рассортированное и очищенное путем варки тряпье фабрикант перерабатывает в светлую тряпичную массу, и, подобно тому как повариха откидывает какую-нибудь приправу на сито, он откидывает эту массу на железную раму, называемую *формой*, на которую натянута металлическая сетка с филиграном, определяющим название бумаги. От размера формы, стало быть, зависит и формат бумаги. В бытность мою у господ Дидо люди бились над разрешением этой задачи, как бьются и по сей день, ведь усовершенствование, над которым трудился ваш отец, – одно из самых насущных требований нашего времени. И вот почему: хотя полотно благодаря своей прочности в конечном счете обходится дешевле хлопчатобумажных тканей, все же, когда приходится выкладывать из кармана деньги, беднота предпочитает истратить меньше и, подтверждая изречение *vae victis!*¹⁴ – терпит большие убытки. Буржуазный класс следует примеру бедняков. Поэтому льняное белье исчезает. В Англии, где у четырех пятых населения хлопчатобумажные ткани вытеснили льняные, вырабатывается исключительно хлопковая бумага. Эта бумага, помимо того что она легко ломается и рвется, так быстро размокает, что книга, отпечатанная на такой бумаге, пролежав четверть часа в воде, превращается в настоящий кисель, тогда как старинная книга не размокнет, пробыв в воде и два часа. Старинную книгу можно высушить, и, хотя она пожелтеет, выцветет, текст все же возможно будет прочесть, произведение не погибнет. Мы вступаем в эпоху, когда частные состояния из-за уравнивания доходов уменьшаются, наступает всеобщее обеднение; нам понадобятся и дешевое белье, и дешевые книги, как уже требуются картины малого размера за отсутствием места для больших картин. Сорочки и книги будут недолговечны – вот и все! Добротность изделий падает повсюду. Мы стоим перед необходимостью разрешить проблему, имеющую огромную важность и для литературы, и для науки, и для политики. Однажды, это было еще у Дидо, в моем рабочем кабинете возник горячий спор по поводу сырья, из которого выделывают бумагу в Китае. Китайские бумажные фабрики в первую же пору своего существования добились благодаря качеству сырья такого совершенства в производстве бумаги, о котором нам и мечтать не приходится. В те годы только и говорили о китайской бумаге, по легкости и тонкости намного превосходящей нашу бумагу, но эти драгоценные качества не идут в ущерб ее прочности, и, как бы ни была тонка эта бумага, она отнюдь не прозрачна. Один корректор, человек весьма образованный (в Париже среди корректоров встречаются ученые: Фурье и Пьер Леру работают корректорами у Лашвардьера!), словом сказать, граф де Сен-Симон, будучи в то время корректором, вошел в комнату в самый разгар спора. Он сказал нам, что у китайцев, по Кемпферу и Альду, в качестве сырья идет *бруссо-*

¹⁴ Горе побежденным! (лат.)

тия – вещество растительного происхождения, как, впрочем, и наше сырье. Другой корректор утверждал, что китайская бумага вырабатывается главным образом из вещества животного происхождения – из шелка, которого в Китае такой избыток. Тут же при мне они побились об заклад. Так как господина Дидо – типографы Института, то спор был вынесен на суждение этого ученого собрания. Господин Марсель, бывший директор императорской типографии, избранный посредником, направил обоих корректоров к господину аббату Грозье, библиотекарю Арсенала. По суждению аббата Грозье, оба корректора проиграли пари. Китайская бумага вырабатывается не из шелка и не из брусонатии: масса изготовляется из волокнистых измельченных стволов бамбука. У аббата Грозье была китайская книга, интересная как в отношении иконографии, так и технологии, со множеством рисунков, воспроизводящих бумажное производство во всех его стадиях; он показал нам превосходный рисунок мастерской, в углу которой лежала целая куча бамбуковых стволов. Когда Люсьен сказал мне, что ваш отец чутьем, свойственным одаренным людям, предвидел возможность заменить бумажный лоскут каким-либо растительным веществом, самым обычным, так сказать отечественного происхождения, как в Китае, где обрабатывают волокнистые стебли растений, я тогда же привел в систему опыты моих предшественников, а затем принялся сам за изучение вопроса. Бамбук – тот же тростник: естественно, я подумал о наших отечественных тростниках. В Китае рабочие руки чрезвычайно дешевы: рабочий день там оплачивается тремя су; немудрено, что китайцы могут позволить себе роскошь, вынув бумагу из формы, укладывая ее лист за листом между нагретыми белыми фарфоровыми плитами, при помощи которых они прессуют бумагу и придают ей глянец, плотность, легкость, шелковистость, благодаря которым китайская бумага считается лучшей в мире. Ну так вот, ручной труд китайца надо заменить работой машины. Механизация производства бумаги поможет разрешить задачу ее удешевления, что в Китае достигается низкой оплатой труда. Ежели нам удалось бы дешево вырабатывать бумагу, по качеству равную китайской, мы более чем наполовину уменьшили бы вес и объем книги. Сочинения Вольтера в переплете на нашей веленовой бумаге весят двести пятьдесят фунтов, а будь они напечатаны на китайской бумаге, они не весили бы и пятидесяти фунтов. Вот это победа! Проблема зданий для библиотек становится все труднее разрешимой в эпоху, когда общее измельчение охватывает все: и вещи, и людей, и даже жилища. В Париже огромные особняки, просторные квартиры рано или поздно станут редкостью; в скором времени не окажется состояний, достойных зодчества наших предков. Позор выпускать в нашу эпоху недолговечные книги! Еще какой-нибудь десяток лет – и голландская бумага, иначе говоря, бумага из льняного тряпья, станет совершенно недоступной. И вот на днях ваш брат поделился со мной мыслью вашего отца: применить для производства бумаги некоторые волокнистые растения; как видите, ежели мне это удастся, вы будете иметь право на...

В ту минуту Люсьен подошел к сестре и помешал Давиду высказать свое великодушное предложение.

– Не знаю, – сказал он, – благоприятен ли для вас нынешний вечер, но для меня он был жесток.

– Что случилось, мой бедный Люсьен? – сказала Ева, увидев возбужденное лицо брата.

Поэт с возмущением стал рассказывать о своих обидах, изливая дружеским сердцам обуревавшие его тревоги. Ева и Давид молча слушали Люсьена, опечаленные этим скорбным потоком признаний, в которых было столько же величия, сколько и мелочности.

– Господин де Баржетон уже старик, – сказал Люсьен в заключение, – и, без сомнения, скоро отправится к праотцам от какой-нибудь желудочной болезни. Ну что же, я тогда восторжествую над этим высокомерным обществом: я женюсь на госпоже де Баржетон! Сегодня вечером я прочел в ее глазах любовь, равную моей любви. Да, она болела моей болью, она облегчала мои страдания; она так же великодушна и благородна, как хороша собой и мила! Нет, она мне не изменит!

– Не пора ли создать ему спокойную жизнь? – тихо сказал Давид Еве.

Ева молча пожала руку Давиду, и он, поняв ее мысль, поторопился посвятить Люсьена в свои мечты и замыслы. Влюбленные были поглощены друг другом, как Люсьен был поглощен собою; спеша поделиться с ним своим счастьем, Ева и Давид не заметили, как встрепенулся возлюбленный г-жи де Баржетон, услышав о помолвке сестры с Давидом. Люсьен, мечтавший, как только он займет достаточно высокое положение, подыскать для сестры блестящую партию и войти в родство с влиятельными людьми, что послужило бы его честолюбивым целям, опекался, усмотрев в этом союзе лишнее препятствие к своим успехам в свете.

«Если госпожа де Баржетон и согласится стать госпожою де Рюампре, она никогда не примирится с положением невестки Давида Сешара!» Фраза эта ясно и точно выражает мысли, терзавшие сердце Люсьена. «Луиза права! Люди с будущим никогда не встретят понимания в своей семье», – подумал он с горечью.

Если бы он узнал об этом союзе не в ту минуту, когда в мечтах уже хоронил г-на де Баржетона, он, конечно, проявил бы живейшую радость. Обдумав настоящее свое положение, поразмыслив над судьбой, ожидавшей такую красивую девушку, бесприданницу, как Ева Шардон, он счел бы этот брак нечаянным счастьем. Но теперь настал для него тот час, когда юноши, оседлав разные *если*, берут любые препятствия, он жил золотыми грезами. Он только что мысленно царил в высшем обществе; поэт страдал от столь быстрого возврата к действительности. Ева и Давид подумали, что брат их молчит, подавленный таким великодушием. Для этих прекрасных душ молчаливое согласие свидетельствовало об истинной дружбе. Типограф с милым и сердечным красноречием стал рисовать счастье, ожидавшее всех четверых. Несмотря на возражения Евы, он обставлял второй этаж с расточительностью влюбленного; с наивным простодушием отвел он третий этаж для Люсьена, а помещения над пристройкой во дворе предназначил для г-жи Шардон, в отношении которой он желал проявить истинно сыновнюю заботливость. Короче, он предрекал семье такое счастье и брату своему такое независимое положение, что Люсьен, зачарованный голосом Давида и ласками Евы, идя тенистой дорогой вдоль тихой и сверкающей Шаранты, под звездным небосводом, в мягкой прохладе ночи, позабыл о терновом венце, который светское общество возложило на его чело. Г-н де Рюампре оценил наконец Давида. Подвижность натуры вновь перенесла его в жизнь чистую, трудовую и мещанскую, которую он до сих пор вел; она представилась ему более приглядной и беззаботной. Шум аристократического мира отдалялся все более и более. Наконец, ступив на мостовую Умо, честолюбец пожал руку брату и вошел в тон со счастливыми любовниками.

– А что, ежели твой отец воспротивится браку? – сказал он Давиду.

– Ты знаешь, как мало он обо мне заботится! Старик живет для самого себя. Но я завтра все же схожу в Марсак повидаться с ним и добьюсь, чтобы он сделал необходимые для нас перестройки.

Давид проводил брата и сестру до дому и тут же попросил у г-жи Шардон руки Евы, как будто дело не терпело отлагательства. Мать взяла руку дочери, с радостью соединила ее с рукою Давида, и влюбленный, осмелев, поцеловал в лоб свою прекрасную невесту, которая, зардевшись, улыбнулась ему.

– Вот она, помолвка бедняков, – сказала мать, подняв глаза и как бы взывая о благословении свыше. – Вы мужественны, дитя мое, – сказала она Давиду, – ведь мы в несчастье, и я боюсь, как бы оно не оказалось заразительным.

– Мы будем богаты и счастливы, – серьезно сказал Давид. – Прежде всего вы бросите свое ремесло, не будете больше сиделкой и вместе с вашей дочерью и Люсьеном переселитесь в Ангулем.

Все трое принялись наперебой рассказывать удивленной матери о своих чудесных планах, увлекшись той беспечной семейной беседой, когда пожинаяют то, что еще не посеяно, и заранее вкушают будущие радости. Давида пришлось выпроводить; он желал бы, чтобы этот

вечер длился вечно. Пробило час, когда Люсьен воротился, проводив своего будущего зятя до ворот Пале. Почтенный Постэль, встревоженный необычным оживлением, стоял за ставнями и прислушивался. Он отворил окно и, увидев у Евы свет в такой поздний час, размышлял: «Что творится у Шардонов?»

– Что случилось, сынок? – сказал он, увидев возвращавшегося Люсьена. – Не нужна ли моя помощь?

– Нет, сударь, – отвечал поэт. – Но вы наш друг, и я могу сказать вам, в чем дело: мать дала согласие на обручение моей сестры с Давидом Сешаром.

В ответ Постэль захлопнул окно; он был в отчаянии: почему он раньше не попросил руки девицы Шардон!

Вместо того чтобы вернуться в Ангулем, Давид пошел по дороге в Марсак. Он шел не спеша и на восходе солнца очутился у виноградника, примыкавшего к отцовскому дому. Влюбленный заметил под миндальным деревом голову старого Медведя, видневшуюся из-за изгороди.

– Здравствуй, отец, – сказал Давид.

– Эге! Да это ты, сынок! Что тебя в эту пору принесло? Пройди тут, – сказал виноградарь, указывая сыну на решетчатую калитку. – Виноград мой весь в цвету, ни одной лозиночки не прихватило морозом. В нынешнем году больше двадцати бочек получу с арпана. И то сказать, удобрение было знатное!

– Отец, я пришел по важному делу.

– Ну а как здравствуют станки? Ты небось разбогател.

– Покуда еще нет, но разбогатею.

– Все эти буржуа... – отвечал отец, – то бишь... господин маркиз, господин граф, все они обвиняют меня, будто, удобряя землю, я порчу вино. А на что тогда ученость? Только мозги засорять! Получат, видишь ли, эти господа когда семь, когда восемь бочек вина с арпана, а продадут их по шестьдесят франков за бочку. А что это принесет? От силы четырехста франков с арпана, и то в урожайный год! А я получаю двадцать бочек и продаю по тридцать франков каждую. Шестьсот франков чистоганом! Кто в дураках? Качество! Качество! Фу-ты, думаю, а на что мне ваше качество? Держите его для себя, господа маркизы! А по мне, качество – это денежки. Так что ты говоришь?..

– Отец, я женюсь, я пришел попросить вас...

– Попросить? О чем?.. Женись, я не перечу, но что касается до... ведь я сам – хоть по миру ступай! Виноградники в разор разорили! Два года из сил выбиваюсь: то землю удобряй, то подати плати, то еще какие-то повинности. Правительству только бы деньги драть. Все пенки снимают. Вот уже два года, как бедные виноделы трудятся попусту. Нынешний год как будто обещает быть урожайным, так вот беда – подорожали бочки: по одиннадцать франков за каждую платил! Работаешь на бочара. Ну, что это ты до сбора винограда жениться вздумал?

– Отец, я прошу лишь вашего согласия.

– Ну, это особая статья. А смею спросить, на ком ты женишься?

– Я женюсь на Еве Шардон.

– Кто она такая? Что за птица?

– Дочь покойного господина Шардона, аптекаря из Умо.

– Ты женишься на девице из Умо? Ты, буржуа! Королевский печатник в Ангулеме! Вот они, плоды просвещения! Вот и посылай детей в коллеж! А-а!.. Видно, она богачка, сынок? – сказал с умильной миной старый винодел, приближаясь к сыну. – Ведь если ты берешь девицу из Умо, стало быть, у нее денег куры не клюют! Ладно! Хоть за аренду дома теперь заплатишь! Помилуй, сынок, ты задолжал мне за два года и три месяца две тысячи семьсот франков. Как нельзя кстати: расплачусь с бочаром! Не будь ты мне сыном, я бы потребовал с тебя проценты. Дело прежде всего! Ну, уж так и быть, я с тебя их не взыщу. А что у нее за душой?

– То же, что было и у моей матери.

Старый винодел чуть было не сказал: «Неужто всего десять тысяч?» Но, вспомнив, что он отказал в отчете сыну, вскричал:

– Стало быть, ничего?

– Богатство моей матери было в ее уме и красоте.

– Ступай-ка на рынок, увидишь, много ли тебе за эти сокровища дадут. Сущее наказание с детьми! Нет, Давид, когда я женился, у меня всего состояния было что бумажный колпак на голове да руки; я был бедный Медведь; но у тебя-то ведь в руках отличная типография, мой подарок, ты мастер своего дела, учен, тебе пристало жениться на ангулемской купчихе, взять приданого этак тысяч тридцать – сорок франков. Брось все эти амуры, я сам тебя женю! Тут неподалеку, не больше мили от нас, живет вдова, мельничиха, лет тридцати двух, у нее угодий на сто тысяч франков; вот это тебе пара! Ее владения примыкают к Марсаку. Какое славное составилось бы у нас именье! А уж как бы я в нем хозяйничал! Говорят, она просватана за своего приказчика Куртуа, да ты почище его! Я примусь хозяйничать на мельнице, а она пускай прохлаждается в Ангулеме.

– Отец, я помолвлен...

– Давид, ты, я вижу, вовсе не имеешь практического смысла; боюсь, что разоришься в прах. Да ежели ты и вправду вздумаешь жениться на этой девице из Умо, я судом взыщу с тебя арендную плату, потому что не предвижу ничего путного. Ах, мои станки, мои бедные станки! Какая уйма денег потрачена, чтобы вас смазывать, держать в чистоте, чтобы вы работали исправно! Одно утешение: надежда на хороший урожай.

– Отец, до нынешнего дня я, кажется, причинял вам мало огорчений...

– И еще меньше платил за аренду дома, – отвечал винодел.

– Помимо согласия на мою женитьбу я хотел просить вас возвести третий этаж над домом и отделать помещение над пристройкой во дворе.

– Что вздор, то вздор! Сам знаешь, нет у меня ни одного су. Да и неужто у меня шальные деньги, чтобы выбрасывать их на ветер? Мне-то от этого какой прок? А?.. Смотрите на него – поднялся спозаранку, вздумал просить меня о каких-то надстройках, которые и королю не по карману! Хоть ты и Давид, да у меня нет сокровищ Соломона. Ты, видно, с ума сошел! И вправду, кормилица подменила мне ребенка!.. Вот где винограду-то уродится, – сказал он, прерывая собственную речь и указывая Давиду на какую-то лозу. – Вот эти детки не обманут родительских надежд: ты их лелеешь, они тебе плоды приносят. Отдал я тебя в коллеж, из сил выбивался, только чтобы ты по ученой части пошел; обучался ты у Дидо. А к чему привели все эти причуды? Меня награждают снохой из Умо, бесприданницей! Не обучайся ты наукам, живи у меня на глазах, не вышел бы ты из моей воли, женился бы на мельничихе и был бы у тебя теперь капитал в сто тысяч, да еще мельница в придачу. И вдруг... Что ж, ты вообразил, что я в награду за твои нежные чувства настрою тебе дворцов? А еще ученый!.. И впрямь можно подумать, что в доме, где ты живешь, свиньи помещались двести лет сряду и твоя девица из Умо не может там почивать! Подумаешь! Что, она королева французская?

– Ну хорошо, отец, я надстрою третий этаж на свои деньги – пускай отец богатеет за счет сына! Пускай это будет наперекор здравому смыслу; что ж, порой так случается!

– Нет, уж ты, голубчик мой, со мною, сделай милость, не хитри! Платить за аренду не из чего, а как этажи возводить, так и денежки нашлись!

Дело обертывалось таким образом, что трудно было договориться, и старик был в восторге – ведь ему удалось поставить сына в положение, при котором он мог не дать ему ничего и все же соблюсти видимость отеческой заботы. Итак, Давид добился от отца лишь согласия на брак и разрешения произвести на свой счет необходимые перестройки в отцовском доме. Старый Медведь, этот образец отцов старинного закала, оказал сыну милость уже тем, что не потребовал уплаты за аренду и не отобрал сбережений, о которых тот так неосторожно упо-

мянул. Давид воротился домой опечаленный: он понял, что в беде не придется рассчитывать на помощь отца.

В Ангулеме все только и говорили что о невольной колкости епископа и об ответе г-жи де Баржетон. Подробности события были так извращены, преувеличены, приукрашены, что наш поэт стал героем дня. Из высших сфер, где разразилась эта буря сплетен, несколько капель упало и на простых горожан. Когда Люсьен, направляясь к г-же де Баржетон, проходил по Болье, он заметил завистливое внимание, с каким на него поглядывали молодые люди, и уловил несколько фраз, польстивших его гордости.

– Вот счастливец! – сказал писец стряпчего, по имени Пти-Кло, товарищ Люсьена по коллежу; он был дурен собою, и Люсьен обращался с ним покровительственно.

– Еще бы! Красив, талантлив, – разумеется, она от него без ума! – отвечал один из дворянских сынков, присутствовавших при чтении.

Люсьен с нетерпением ожидал того часа, когда, как он знал, застанет Луизу одну; ему надо было получить благословение этой женщины, ставшей вершительницей его судеб, на брак сестры. Как знать, не станет ли Луиза нежнее после вчерашнего вечера и не приведет ли эта нежность к блаженному мгновению? Он не ошибся: г-жа де Баржетон встретила Люсьена с такой напыщенностью в чувствах, что неискушенный в любви поэт усмотрел в этом трогательное выражение нарастающей страсти. Она позволила поэту, так много выстрадавшему накануне, покрыть пламенными поцелуями ее прекрасные золотистые волосы, руки, лоб.

– Когда б ты мог, читая стихи, видеть свое лицо! – сказала она. (Накануне, когда Луиза, сидя на диване, отирала своей белой рукой капли пота, как бы заранее убиравшие жемчугами это чело, на которое она готова была возложить венец, они перешли на «ты», к этой ласке речи.) – Молнии метали твои дивные глаза! От твоих уст, грезилось мне, тянулись золотые цепи, приковывающие сердца к устам поэтов. Ты должен прочесть мне всего Шенье, – это поэт влюбленных. И ты не будешь более страдать, я этого не допущу! Да, ангел души моей, я создам для тебя оазис, ты будешь жить там жизнью поэта, деятельной и изнеженной, беспечной и трудолюбивой, созерцательной и рассеянной. Но никогда не забывайте, сударь, что лаврами вы обязаны мне! В этом будет для меня достойная награда за те страдания, которые выпадут на мою долю! Бедняжка ты мой, свет не пощадит меня, как не пощадил и тебя; он мстит за счастье, к которому сам не причастен. Да, я вечно буду преследуема завистью! Ужели вы этого не заметили вчера? Ужели вы не видели, как налетели на меня эти мухи, чтобы, ужалив, упиться свежей кровью? Но я была счастлива! Я жила! Так давно не звучали все струны моего сердца!

Слезы струились по щекам Луизы; Люсьен взял ее руку и, вместо ответа, долго целовал ее. Итак, эта женщина льстила суетности поэта, как прежде льстили мать, сестра и Давид. Все вокруг продолжали возводить для него воображаемый пьедестал. Все потакали ему в его самообольщении: и друзья, и враги. Он жил в мареве честолюбивых грез. Молодое воображение так естественно поддается похвалам и лести, все кругом так спешит услужить молодому человеку, красивому, исполненному надежд, что надобен не один отрезвляющий, горький урок, чтобы рассеять этот самообман.

– Луиза, красавица моя! Ты согласна быть моей Беатриче, но Беатриче, позволяющей себя любить? Возможно ль это?

Она подняла свои прекрасные глаза, до той поры опущенные, и сказала, противореча своим словам ангельской улыбкою:

– Если вы того заслужите... то... позже! Ужели вы не счастливы? Овладеть сердцем женщины, иметь право сказать ей все откровенно, быть уверенным, что вас поймут, – ужель не в этом счастье?

– Да, – отвечал он тоном обиженного любовника.

– Дитя! – сказала она с насмешкой. – Но послушайте, вы желали что-то мне сказать! Ты вошел такой озабоченный, мой Люсьен.

Люсьен, робея, доверил возлюбленной тайну любви Давида и сестры и рассказал о предстоящем браке.

– Люсьен, бедняжка! – сказала она. – Он боится, что накажут, побранят, точно он сам женится. Но что в том дурного? – продолжала она, погружая пальцы в кудри Люсьена. – Что мне до твоей семьи, когда ты – это ты? Неужто женитьба моего отца на служанке тебя бы огорчила? Милый мальчик, для влюбленных семья – это только они одни. Неужто что-либо в мире, помимо моего Люсьена, способно меня интересовать? Добейся известности, завоюй славу – вот в чем наша цель!

Люсьен при этом себялюбивом ответе почувствовал себя счастливейшим человеком в мире. В ту минуту, когда он выслушивал сумасшедшие доводы, при помощи которых Луиза доказывала ему, что они одни в целом мире, вошел г-н де Баржетон. Люсьен насупил брови и, казалось, смутился; Луиза ободрила его взглядом и пригласила отобедать с ними и кстати прочесть ей стихотворения Андре Шенье, покуда не соберутся игроки и обычные ее гости.

– Вы доставите удовольствие не только ей, – сказал г-н де Баржетон, – но и мне также. По мне, нет ничего лучше, как чтение после обеда.

Обласканный г-ном де Баржетоном, обласканный Луизой, окруженный той особой внимательностью слуг, которую они проявляют к любимцам своих господ, Люсьен остался в особняке де Баржетонов и приобщился ко всем дарам роскоши, предоставленным в его пользование. Когда салон наполнился гостями, он, осмелев от глупости г-на де Баржетона и любви Луизы, принял высокомерный вид, в чем поощряла его прекрасная возлюбленная. Он вкушал от наслаждений неограниченной власти, завоеванной Наис, и она охотно делила ее с ним. Короче, в этот вечер он пробовал свои силы в роли провинциального героя. Наблюдая новые замашки Люсьена, кое-кто думал, что он, как говорилось в старину, *завел амур*ы с г-жою де Баржетон. В углу гостиной, где собрались все завистники и клеветники, Амели, пришедшая вместе с г-ном дю Шатле, уверяла всех, что это великое несчастье уже свершилось.

– Не вменяйте в вину Наис тщеславие юнца, возгордившегося тем, что он очутился в обществе, в которое он и не мечтал проникнуть, – сказал Шатле. – Неужто вы не видите, что этот Шардон принимает любезные фразы светской женщины за поощрение кокетки? Он еще не умеет отличить истинную страсть, которую хранят в тайниках души, от покровительства и ласковых речей, что стяжали ему красота, молодость и талант. Женщины были бы достойны глубокого сожаления, будь они повинны во всех желаниях, которые они нам внушают. Он, конечно, влюблен; ну а Наис...

– О! Наис, – вторила коварная Амели, – Наис счастлива этой страстью. В ее возрасте любовь молодого человека чрезвычайно соблазнительна! Помилуйте! Ведь сама молодеешь, обращаешься в юную девушку, перенимаешь девичью застенчивость, манеры и не думаешь, как это смешно... Ну что вы скажете, аптекарский сынок держит себя хозяином у госпожи де Баржетон!

– «Любовь, любовь преград не знает!..» – пропел Адриан.

На другой день в Ангулеме не было дома, где бы не судачили о степени близости г-на Шардона, *alias*¹⁵ де Рюампре, и г-жи де Баржетон; они были повинны лишь в нескольких поцелуях, а свет обвинял их в самом предосудительном счастье. Г-жа де Баржетон расплачивалась за свое владычество. Среди причуд светского общества не примечали ль вы непостоянства в суждениях и прихотливости в требованиях? Одним все дозволено: они могут совершать самые безрассудные поступки; все, что от них исходит, благопристойно; любые их действия будут оправданы. Но есть другие, к которым свет относится с чрезвычайной суровостью: они обязаны

¹⁵ Иначе (*лат.*).

быть безукоризненными во всем, им нельзя ни ошибиться, ни погрешить ни в чем, нельзя позволить себе ни малейшей оплошности; точь-в-точь как обращаются со статуями: сперва ими любуются, а потом сбрасывают с пьедестала, как только от зимних морозов у них отвалится палец либо отпадет нос; человеческие слабости им не дозволены, они обязаны быть богоподобными. Взгляд, которым обменялись г-жа де Баржетон и Люсьен, был равноценен двенадцати годам счастья Зизины и Франсиса. Пожатие руки должно было навлечь на влюбленных все громы Шаранты.

Давид привез из Парижа небольшие сбережения, которые предназначил на расходы, связанные с женитьбой и надстройкой третьего этажа в родительском доме. Расширить дом – не значило ли потрудиться ради самого себя? Рано или поздно дом перейдет к нему, ведь отцу семьдесят восемь лет. Итак, типограф возвел для Люсьена третий этаж над домом, легкую деревянную надстройку, чтобы не чересчур обременять старые, источенные временем стены. Он любовно отделывал и обставлял квартиру во втором этаже, где предстояло жить прекрасной Еве. То было время радости и безоблачного счастья для обоих друзей. Хотя узкие рамки провинциального существования стесняли Люсьена и ему наскучила мелочная бережливость, превращавшая сто су в огромную сумму, все же он безропотно переносил мелочные расчеты и лишения нищеты. Печальная задумчивость уступила место ликующему выражению надежды. Он видел звезду, засиявшую над его головой; он мечтал о волшебной жизни, основывая свое счастье на могиле г-на де Баржетона, который от времени до времени страдал плохим пищеварением и по счастливой мании полагал, что тяжесть в желудке после обеда – недуг, против которого единственное средство: плотно поужинать.

В начале сентября месяца Люсьен не был более фактором, он был господином де Рюампре, он занимал квартиру великолепную в сравнении с жалкой мансардой со слуховым окошком, в которой ютился в Умо скромный Шардон; он не был более обывателем Умо, он жил в верхнем Ангулеме, обедал раза четыре в неделю у г-жи де Баржетон. К нему благоволил сам епископ, и он был принят в епископском доме. По роду своих занятий он принадлежал к разряду образованнейших людей. Наконец ему предстояло в будущем занять место среди знаменитостей Франции. Конечно, прохаживаясь по нарядной гостиной, прелестной спальне и кабинету, убранным со вкусом, он мог утешаться мыслью, что те тридцать франков, что он урывает каждый месяц из заработка своей сестры и матери, который дается им таким тяжелым трудом, он возместит стократ, ибо он предвидел день, когда исторический роман «Лучник Карла IX», над которым он трудился уже в течение двух лет, и томик стихов под заглавием «Маргаритки» прославят его имя в литературном мире и принесут ему достаточно денег, а тогда он отдаст свой долг матери, сестре и Давиду. И мог ли он, пребывая в столь благородной уверенности, чувствуя себя человеком выдающимся, слыша, как гремит его имя в веках, не принимать этих жертвоприношений? Он смеясь переносил лишения, он наслаждался своими последними невзгодами. Ева и Давид позаботились о счастье брата прежде, нежели о своем собственном. Свадьба откладывалась до тех пор, покуда рабочие не окончат отделку, окраску, оклейку обоями третьего этажа, – дела Люсьена устраивались в первую очередь. Того, кто знал Люсьена, не удивило бы такое самопожертвование: он был так обаятелен, так ласков в обращении! Так очаровательно выражал он свое нетерпение, так мил был в своих прихотях! Желания его выполнялись, едва успевал он слово вымолвить. Это роковое преимущество чаще служит во вред молодым людям, чем во благо. Избалованные участием, которое внушает к себе прекрасная юность, осчастливленные себялюбивым покровительством, которое свет оказывает своим любимцам, как богатч подаст милостыню нищему, вызвавшему его сочувствие и тронувшему его сердце, многие из этих взрослых детей начинают упиваться общей благосклонностью, вместо того чтобы извлекать из нее пользу. Не зная скрытой основы и пружин общественных отношений, они воображают, что их вечно будут встречать с улыбкой, и не ждут разочарования; но наступает час, когда свет выбрасывает их, как престарелую кокетку, за дверь гостиной

или на улицу – как ветхое тряпье, нагих, облезших, обобранных, без имени, без денег. Впрочем, Ева была довольна отсрочкой, она желала не спеша обзавестись всем необходимым для молодого хозяйства. И как могли влюбленные в чем-либо отказать брату, который, глядя, как его сестра берется за иглу, трогательно говорил: «Как бы я желал уметь шить!» Да и сам серьезный и наблюдательный Давид был соучастником этой самоотверженной любви. Однако ж после успеха Люсьена у г-жи де Баржетон он испугался перемены, которая происходила в Люсьене; он опасался, как бы Люсьен не проникся презрением к мещанским нравам. Желая испытать брата, Давид не однажды ставил его перед необходимостью выбора между патриархальными семейными радостями и утехами света, и всякий раз, когда Люсьен жертвовал ради семьи светскими удовольствиями, он восклицал: «Нет, нам никто его не испортит!» Не однажды трое друзей и г-жа Шардон устраивали загородные прогулки, как это водится в провинции: они шли в леса, что окружают Ангулем и тянутся вдоль Шаранты; они завтракали, расположившись на траве, провизией, которую ученик Давида приносил в известный час в назначенное место; потом, не истратив и трех франков, немного усталые, они вечером возвращались домой. В особо торжественных случаях они обедали в деревенских *ресторациях*, представляющих собою нечто среднее между провинциальными *трактирами* и парижскими *кабачками*; тут они позволяли себе кутеж – он обходился им в пять франков, которые Давид и Шардоны платили поровну. Давид был бесконечно признателен Люсьену за то, что ради сельских развлечений он пренебрегал удовольствиями, которые ожидали его в доме г-жи де Баржетон, и пышными зваными обедами, – теперь всякий желал чествовать ангулемскую знаменитость.

При таких-то обстоятельствах, именно в то время, когда почти уже все необходимое для будущего хозяйства было налицо и Давид отправился в Марсак приглашать отца на свадьбу в надежде, что старик, очарованный невесткой, примет на себя часть огромных расходов, связанных с перестройкой дома, произошло одно из тех событий, которые в провинциальных городках совершенно изменяют положение вещей.

Люсьен и Луиза имели в лице Шатле домашнего соглядатая, и он с настойчивостью, порожденной ненавистью, к которой примешивалась страсть, равно как и жадность, искал случая вызвать скандал. Сикст желал довести г-жу де Баржетон до столь явного выражения чувств к Люсьену, чтобы ее сочли *погибшей*. Он выказывал себя покорным наперсником г-жи де Баржетон; но если он восхищался Люсьеном в улице Минаж, то в других домах всячески поносил его. Он незаметно завоевал себе право бывать запросто у Наис, которая уже несколько не остерегалась своего прежнего обожателя; но он был чересчур преувеличенного мнения о наших любовниках: к великому огорчению Луизы и Люсьена, любовь их по-прежнему оставалась платонической. В самом деле, есть страсти, которые затягиваются в своем развитии, и как знать – худо это или хорошо? Влюбленные пускаются в маневрирование чувствами, рассуждают, а не действуют, сражаются в открытом поле, а не идут на приступ. Они пресыщаются, растрчивая попусту свою страсть. Влюбленные в таких случаях слишком много размышляют, слишком взвешивают свои чувства. Часто страсти, выступившие в поход с развернутыми знаменами, в полном параде, пылая желанием все сокрушить, кончают тем, что уходят в себя, не одержав победы, посрамленные, обезоруженные, обескураженные напрасной шумихой. Такой роковой исход порою объясняется робостью молодости и желанием отсрочить развязку, столь приманчивым для неопытных в любви женщин, ибо ни отъявленные фаты, изощренные в искусстве волокитства, ни записные кокетки, искушенные в любовной науке, не пойдут на такой взаимный обман.

Притом провинциальная жизнь удивительно не благоприятствует любовным утехам и, напротив, располагает к рассудочным спорам о страсти; а препятствия, которые она ставит нежным отношениям, связующим влюбленных, побуждают пылкие души к крайностям. Провинциальная жизнь зиждется на таком придирчивом соглядатайстве, на такой откровенности внутреннего уклада, так не допускает она ни малейшей добродетели, так безрассудно опоро-

чиваются там самые чистые чувства, что дурная слава многих женщин ими вовсе не заслужена. И многие из них сожалеют, что напрасно не вкусили они от всех радостей греха, если им приходится нести на себе все его печальные последствия. Общество, которое легкомысленно клеймит или порицает явные проступки, коими кончается длительная тайная борьба, пожалуй, само больше всего повинно в том, что разыгрываются скандальные истории; но большинство людей, злословящих по поводу якобы позорного поведения некоторых женщин, без вины виноватых, никогда не задумывалось о причинах, побудивших их бросить вызов обществу. Г-жа де Баржетон должна была оказаться в том нелепом положении, в котором оказывались многие женщины, чье падение совершилось уже после того, как они были несправедливо обвинены.

При зарождении страсти препятствия пугают неопытных людей; препятствия же, стоявшие на пути наших влюбленных, напоминали нити, которыми лилипуты опутали Гулливера. То были бесчисленные пустяки, они сковывали всякое движение и убивали всякое пылкое желание. Так, г-жа де Баржетон постоянно была на виду у всех. Если бы она вздумала запереть двери для гостей в те часы, когда у нее бывал Люсьен, этим все было бы сказано; пожалуй, проще было бы сбежать с ним. Правда, она принимала его в будуаре, с которым он так свыкся, что чувствовал себя там хозяином; но двери будуара умышленно держали открытыми. Все происходило самым добродетельным образом. Г-н де Баржетон, точно майский жук, кружил по комнатам, не думая, что его жене хочется побыть с Люсьеном наедине. Не будь иных помех, помимо него, Наис легко могла бы избавиться от присутствия мужа, дав ему какое-нибудь поручение вне дома или же заняв его какой-нибудь хозяйственной работой; но ее одолевали гости, а они становились все назойливее, по мере того как возрастало любопытство. Провинциалы по своей природе люди вздорные, им любо досадить зарождающейся страсти. Слуги сновали взад и вперед по дому, входили без зова и не постучав в дверь в силу старинных привычек, раньше совсем не досаждавших женщине, у которой не было причины скрывать что-либо. Изменить домашний уклад – не значило ли признаться в любви, в которой Ангулем еще сомневался? Г-жа де Баржетон шагу не могла ступить из дому, чтобы весь город не знал, куда она отправилась. Прогулка вне города вдвоем с Люсьеном была бы отчаянным поступком: предпочтительнее было бы запереться с ним дома. Если бы Люсьен засиделся у г-жи де Баржетон за полночь, когда гости уже разошлись, утром поднялись бы толки. Итак, и дома, и вне дома г-жа де Баржетон всегда была на людях. Эти подробности рисуют провинцию: там грех неверности либо признан, либо невозможен.

Луиза, как все увлеченные страстью неопытные женщины, мало-помалу начинала сознавать трудности своего положения; она страшилась их. Страх оказывал влияние на те любовные споры, на какие растрачиваются лучшие часы, когда влюбленные остаются одни. У г-жи де Баржетон не было поместья, куда она могла бы увезти своего милого поэта, как это делают иные женщины, которые, придумав удачный предлог, погребают себя в деревенской глуши. Утомленная жизнью на людях, доведенная до крайности этой тиранией, иго которой было тем тяжелее, что мешало радостям любовных утех, она вспомнила об Эскарба и теперь мечтала увидеться со стариком-отцом: так раздражали ее все эти жалкие препятствия.

Шатле не верил в такую невинность. Он выслеживал, в какие именно часы Люсьен приходил к г-же де Баржетон, являлся вслед за ним, неизменно сопутствуемый г-ном де Шандуром, человеком, во всей этой компании самым невоздержанным на язык, и его-то он всегда пропускал вперед, надеясь застать любовников врасплох; он упорно подстерегал случай. Его роль и успех его замысла представляли особую трудность, ибо ему требовалось выказывать полное безразличие, раз он желал управлять актерами этой драмы, которую ему вздумалось разыграть. Итак, окружая Люсьена лестью, пытаясь усыпить его внимание и обмануть г-жу де Баржетон, не лишенную проницательности, он для виду стал волочиться за завистливой Амели. Чтобы легче было шпионить за Луизой и Люсьеном, он уже несколько дней вел с г-ном Шандуром оживленный диспут по поводу влюбленной пары. Дю Шатле уверял, что г-жа

де Баржетон смеется над Люсьеном, что она чересчур горда, чересчур знатна, чтобы снизойти до сына аптекаря. Преувеличивать свое недоверие к сплетням входило в начертанный им план действий, ибо он желал прослыть защитником г-жи де Баржетон. Станислав же утверждал, что Люсьена отнюдь нельзя причислить к неудачливым любовникам. Амели подзадоривала спорящих, желая узнать истину. Всякий выражал свое мнение. Как водится в провинциальных городках, нередко кто-нибудь из близких друзей Шандуров, случайно заглянув к ним, попадал в самый разгар спора, в пылу которого дю Шатле и Станислав наперебой подкрепляли свои мнения удивительными доводами. И как было противникам не заручиться сторонником, не спросить соседа: «А как ваше мнение?» Столь философские споры способствовали тому, что г-жа де Баржетон и Люсьен постоянно были в центре внимания. Наконец дю Шатле высказал однажды такое соображение: помилюйте, столько раз приходили они с г-ном де Шандуром к г-же де Баржетон в то время, как там был Люсьен, и никогда не замечали в их отношениях ничего предосудительного – дверь в будуар была открыта, слуги входили и выходили, ничто не обличало прелестных любовных преступлений и т. д. Станислав, которому нельзя было отказать в известной дозе глупости, решил завтра же войти в будуар г-жи де Баржетон на цыпочках, на что коварная Амели всячески его подстрекала.

Это «завтра» оказалось для Люсьена одним из тех дней, когда молодые люди рвут на себе волосы и клянутся более не выполнять глупой роли вздыхателя. Он освоился со своим положением. Поэт, когда-то робко садившийся на кончик стула в священном будуаре ангулемской королевы, преобразился в требовательного любовника. Шести месяцев было достаточно, чтобы он возомнил себя равным Луизе и пожелал быть ее господином. Он вышел из дому с непреклонным решением пойти на безрассудство, поставить жизнь на карту, воспользоваться всеми доводами пламенного красноречия, сказать, что он потерял голову, не способен думать, не способен написать ни строчки. Иные женщины испытывают отвращение к предумышленной решимости, что делает честь их щепетильности; они охотно уступают увлечению, но не требованиям. Вообще нет любителей навязанного удовольствия. Г-жа де Баржетон заметила в выражении лица Люсьена, в его глазах, в манерах ту *взволнованность*, которая обличает заранее обдуманное решение: она сочла необходимым расстроить его замысел, отчасти из духа противоречия, отчасти из возвышенного понимания любви. Как женщина, любящая все преувеличивать, она преувеличивала и значение своей особы. Ведь в своих глазах г-жа де Баржетон была владычицей, Беатриче, Лаурой. Она воображала себя восседающей, как в Средние века, под балдахином на литературном турнире, и Люсьен должен был завоевать ее, одержав немало побед; ему полагалось затмить «вдохновенного ребенка», Ламартина, Вальтера Скотта, Байрона. Существо возвышенное, она смотрела на свою любовь как на облагораживающее начало: желания, которые она внушала Люсьену, должны были пробудить в нем жажду славы. Это женское *донкихотство* проистекает из чувства, освящающего любовь, оно достойно уважения, ибо обращает ее на пользу человеку, облагораживает, возвышает. Положив играть роль Дульцинеи в жизни Люсьена не менее семи или восьми лет, г-жа де Баржетон желала, подобно многим провинциалкам, заставить своего возлюбленного своеобразным закабалением, длительным постоянством как бы выкупить ее особу, – короче, она желала подвергнуть своего друга искусству.

Когда Люсьен начал сражение одной из тех нервических вспышек, что забавляют женщин, достаточно владеющих собою, и огорчают только любящих, Луиза приняла исполненную достоинства позу и повела длинную речь, уснащенную высокопарными словами.

– Где же ваши обещания, Люсьен? – сказала она наконец. – Избавьте же столь сладостное настоящее от упреков совести, ведь позже они отравят мне жизнь. Не портите будущего! И, говорю с гордостью, не портите настоящего! Ужели мое сердце не принадлежит вам вполне? Чего же вы еще желаете? Неужто ваша любовь уступает влиянию чувственности? Но не в том ли преимущество любимой женщины, чтобы вынудить чувственность умолкнуть? За кого вы

меня принимаете? Ужели я более не ваша Беатриче? И разве я для вас не больше чем просто женщина? А ежели не так, стало быть, я нечто меньшее...

– Вы то же самое сказали бы человеку, которого не любите! – в ярости вскричал Люсьен.

– Если вы в моих словах не чувствуете истинной любви, вы никогда не будете достойны меня.

– Вы начинаете сомневаться в моей любви, желая избавиться себя от труда отвечать на нее, – сказал Люсьен, в слезах бросаясь к ее ногам.

Бедный мальчик плакал всерьез: он видел, что еще долго придется ему стоять у врат рая. То были слезы поэта, уязвленного в своем могуществе, слезы ребенка, обиженного отказом в желанной игрушке.

– Вы никогда меня не любили! – вскричал он.

– Вы сами не верите тому, что говорите, – отвечала она, польщенная его бурным чувством.

– Так докажите, что вы моя! – в неистовстве сказал он.

В эту минуту неслышно вошел Станислав, увидел Люсьена, почти распростертого у ног Луизы, припавшего головой к ее коленам, плачущего. Обрадованный столь недвусмысленной картиной, Станислав быстро отступил к дверям гостиной, где его поджидал дю Шатле. Г-жа де Баржетон тотчас же кинулась им вслед, но ей не удалось настигнуть шпионов, которые поспешно удалились, словно боясь помешать.

– Кто приходил ко мне? – спросила она у слуг.

– Господа де Шандур и дю Шатле, – отвечал ее старый лакей Жантиль.

Она воротилась в будуар бледная и взволнованная.

– Ежели они видели вас в таком положении, я погибла, – сказала она Люсьену.

– Тем лучше! – вскричал поэт.

Этот себялюбивый возглас страсти вызвал у нее улыбку. В провинции истории такого рода осложняются по мере их пересказа. В одну минуту всем стало известно, что Люсьена застали у ног Наис. Г-н де Шандур, обрадованный случаем выставиться напоказ, прежде всего помчался в клуб и там оповестил о великом событии, затем обегал все знакомые дома. Дю Шатле не преминул предупредить всех, что он, мол, лично ничего не видел; но, сам оставаясь в стороне, он подстрекал Станислава, понуждал его повторять без устали свой рассказ; и Станислав, почитая себя великим остроумцем, приукрашал повествование все новыми и новыми выдумками. Вечером все общество хлынуло к Амели, ибо к вечеру в дворянском Ангулеме уже ходили самые невероятные слухи, и всякий рассказчик стремился в сочинительстве перещеголять самого Станислава. И женщины и мужчины жаждали знать истину. Строя самую невинную мину, громче всех кричали о скандальной истории, о развращенности нравов Амели, Зефирина, Фифина, Лолотта, именно те женщины, которые сами были более или менее повинны в запретном счастье. Жестокая тема разнообразилась на все лады.

– Вы слышали интересные новости? – говорила одна. – Бедняжка Наис! Но я этому не верю! За кем другим, а за ней подобных скандальных историй никогда еще не водилось. Помилуйте, она чересчур горда, чтобы унизиться до какого-то Шардона. Она могла ему покровительствовать, но не более. А ежели это не так... Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашла в кого влюбиться! Мне жаль ее от всей души.

– Она тем более заслуживает жалости, что поставила себя в уморительно смешное положение: она годится в матери этому Люлю, как называет его Жак. Каково вам это покажется? Повесе едва ли двадцать лет, а Наис, между нами будь сказано, все сорок.

– Но позвольте, – сказал Шатле, – я думаю, что положение, в котором находился господин де Рюампре, уже само по себе свидетельствует о невинности Наис. Неужто на коленях вымаливают то, что уже даровано?

– Как вам сказать! – вставил Франсис, состроив игривую мину, и тем заслужил укоризненный взгляд г-жи де Сенонш.

– Но расскажите же толком, как было дело? – спрашивали у Станислава, обступив его тесным кольцом в углу гостиной.

Станислав сочинил наконец целую историю, полную непристойностей; притом он сопровождал свой рассказ такими жестами, принимал такие позы, что очевидность преступления становилась поразительно ясной.

– Непостижимо! – твердили вокруг.

– Фи! Среди белого дня! – говорила одна.

– Кого-кого, а Наис никогда бы я в этом не заподозрила.

– Что же с ней теперь станется?

Затем следовали бесконечные толкования, предположения!.. Дю Шатле защищал г-жу де Баржетон, но защищал так неловко, что только подливал масла в огонь. Лили, огорченная падением самого дивного ангела на ангулемском олимпе, вся в слезах отправилась в епископский дом, чтобы сообщить новость. Когда сплетня разошлась решительно по всему городу, довольный дю Шатле явился к г-же де Баржетон, где – увы! – играли в вист всего лишь за одним столом; он дипломатически попросил у Наис позволения поговорить с ней наедине в будуаре. Они сели на диванчик.

– Вы, конечно, знаете, – сказал дю Шатле шепотом, – о чем толкует весь Ангулем?

– Нет, – сказала она.

– А если так, – продолжал он, – я чересчур расположен к вам, чтобы оставить вас в неведении. Я должен дать вам возможность пресечь клевету, которую, видимо, распускает Амели, дерзнувшая возомнить себя вашей соперницей. Сегодня поутру я заходил к вам с этой обезьяной Станиславом; он опередил меня на несколько шагов и теперь утверждает, что, подойдя к этой двери, – сказал он, указывая на дверь будуара, – он будто бы увидел вас и господина де Рюампре в таком положении, что не посмел войти; он отскочил в полной растерянности, не дав мне времени опомниться, увлек меня за собою, и только уже когда мы дошли до Болье, он объяснил мне причину своего бегства. Ежели бы я узнал это раньше, я не двинулся бы от вас ни на шаг и постарался бы осветить дело в вашу пользу; но воротиться обратно, раз я уже вышел, не повело бы ни к чему. Теперь же, видел ли что-нибудь Станислав или не видел, он *должен оказаться неправым*. Милая Наис, не позволяйте этому глупцу играть вашей жизнью, вашей честью, вашей будущностью; немедленно заставьте его замолчать. Вам известно мое положение. Хотя я и нуждаюсь здесь в каждом человеке, я вполне предан вам. Располагайте жизнью, которая принадлежит вам. Хотя вы и отвергли мои чувства, мое сердце навеки ваше, и я готов при всяком случае доказать, как я вас люблю. Да, да! Я готов оберегать вас, как верный слуга, не надеясь на награду, единственно из удовольствия служить вам, хотя бы вы об этом не узнали. Сегодня я убеждал всех, что ничего не видел, хотя и стоял в дверях гостиной. Если вас спросят, каким образом до вас дошли сплетни на ваш счет, сошлитесь на меня. Я почту за честь быть вашим защитником; но, между нами будь сказано, только господин де Баржетон может потребовать удовлетворения от Станислава... Ежели этот молокосос Рюампре и дозволил себе какое-нибудь безрассудство, нельзя же допустить, чтобы честь женщины зависела от поведения повесы, которому вздумалось пасть к ее ногам. Вот что я хотел сказать.

Наис поблагодарила дю Шатле наклоном головы и задумалась. Ей до отвращения наскучила провинциальная жизнь. При первых же словах дю Шатле ее взоры обратились к Парижу. Молчание г-жи де Баржетон поставило ее затейливого поклонника в неловкое положение.

– Располагайте мною, – сказал он, – прошу вас.

– Благодарю, – отвечала она.

– Как вы полагаете поступить?

– Подумаю.

Длительное молчание.

– Неужто вы так влюблены в этого мальчишку?

Высокомерная улыбка скользнула по ее лицу, и, скрестив руки, она вперила взгляд в занавеси на окнах будуара. Дю Шатле ушел, не разгадав сердца этой надменной женщины. Позже, когда ушли Люсьен и четверо верных старцев, которые, не смущаясь сомнительной сплетней, все же явились составить партию в карты, г-жа де Баржетон окликнула мужа, собиравшегося уже идти спать: он так и застыл с раскрытым ртом, не успев пожелать жене доброй ночи.

– Подите-ка сюда, мой друг, мне надобно поговорить с вами, – сказала она с некоторой торжественностью.

Господин де Баржетон последовал за женой в будуар.

– Послушайте, – сказала она, – возможно, я поступила опрометчиво, вложив в мои заботы о господине де Рюбампре в качестве его покровительницы излишнюю горячность, дурно понятую как здешними глупцами, так и им самим. Нынче утром Люсьен бросился к моим ногам, как раз на этом месте, и признался мне в любви! И в ту самую минуту, когда я поднимала с полу этого юнца, вошел Станислав. Пренебрегая обязанностями в отношении женщины, блюсти которые учтивость предписывает благородному человеку в любых обстоятельствах, он растремил повсюду, что застал меня в щекотливом положении с этим мальчишкой, хотя я отнеслась к нему, как он того заслуживал. Но вообразите, что произойдет, когда гадкая сплетня коснется до слуха этого сорванца, виновного лишь в легкомыслии! Я уверена, он нанесет оскорбление Станиславу и станет с ним драться. Помилуйте, да ведь это было бы равносильно публичному признанию в любви! Мне нет нужды говорить вам, что ваша жена чиста; но вы сами понимаете, как пострадала бы и ваша и моя честь, вздумай только господин де Рюбампре выступить в мою защиту... Ступайте немедленно к Станиславу и самым серьезным образом потребуйте у него удовлетворения за те оскорбительные речи, что он вел обо мне; помните, что дело можно уладить лишь в том случае, ежели он откажется от своих слов публично, в присутствии многих почтенных свидетелей. Таким образом вы заслужите уважение всех порядочных людей, вы поступите как человек умный, как человек воспитанный и получите право на мое уважение. Я сейчас же пошлю Жангиля верхом в Эскарба, мой отец будет вашим секундантом; несмотря на свой возраст, он способен, я в том уверена, свернуть шею этому шуту, который чернит доброе имя женщины из рода Негрпелис. Выбор оружия предоставляется вам; деритесь на пистолетах, вы метко стреляете!

– Иду, – сказал г-н де Баржетон, взяв трость и шляпу.

– Отлично, мой друг, – сказала растроганная жена. – Вот таких мужчин я люблю. Вы настоящий дворянин.

И старец, счастливый и гордый, поцеловал ее в лоб, который она ему милостиво подставила для поцелуя. А женщина, питавшая к этому седовласому младенцу чувство, родственное материнскому, прослезилась, услышав, как затворились за ним ворота.

«Как он меня любит! – сказала она самой себе. – Бедняга привязан к жизни и, однако ж, готов безропотно погибнуть ради меня».

Господин де Баржетон не тревожился о том, что завтра ему придется стоять перед противником лицом к лицу, хладнокровно смотреть на дуло пистолета, направленное на него; нет, его смущало только одно обстоятельство, и от этого его бросало в дрожь, покамест он шел к г-ну де Шандуру. «Что я скажу? – думал он. – Наис следовало бы подсказать мне главную мысль!» И он ломал себе голову, сочиняя приличествующие случаю фразы, которые не были бы чересчур смешны.

Но люди, живущие, как жил г-н де Баржетон, в вынужденном молчании, на которое их обрекают скудоумие и узость кругозора, в решительные минуты жизни принимают особо внушительную осанку. Они говорят мало и глупостей, естественно, высказывают меньше, притом

они столь долго обдумывают то, что собираются сказать, и по причине крайнего недоверия к себе столь тщательно подготавливают свои речи, что наконец изъясняются всем на удивление, – чудо из области тех чудес, которые развязали язык валаамовой ослице. И вот г-н де Баржетон повел себя как человек недюжинный. Он оправдал мнение тех, кто почитал его философом пифагорейской школы. Было одиннадцать часов вечера, когда он вошел в гостиную Станислава; там он застал большое общество. Он молча поклонился Амели и одарил каждого своей бессмысленной улыбкой, которая при настоящих обстоятельствах показалась глубоко иронической. Наступила мертвая тишина, как в природе перед грозой. Шатле, уже успевший воротиться, чрезвычайно выразительно поглядел прежде на г-на де Баржетона, потом на Станислава, которому оскорбленный муж с отменной учтивостью отдал поклон.

Дю Шатле понял, что за смысл таит в себе это посещение в такой поздний час, когда старик обычно лежал уже в постели: очевидно, немощную руку его направляла Наис; и так как отношения дю Шатле с Амели давали ему право вмешиваться в семейные дела, он встал, отвел г-на де Баржетона в сторону и сказал:

– Вы желаете говорить со Станиславом?

– Да, – отвечал добряк, обрадовавшись посреднику и надеясь, что тот примет на себя ведение переговоров.

– Так пожалуйста в комнату Амели, – отвечал управляющий сборами, довольный предстоящим поединком, по причине которого г-жа де Баржетон может остаться вдовой и в то же время ей нельзя будет выйти замуж за Люсьена, виновника дуэли. – Станислав, – сказал дю Шатле г-ну де Шандуру, – Баржетон, очевидно, пришел потребовать удовлетворения, ведь вы столько болтали насчет Наис. Ступайте в будуар вашей жены и ведите себя оба, как подобает дворянам. Не повышайте голоса, будьте отменно учтивы – короче, держите себя с чисто британским хладнокровием и не уроните своего достоинства.

Минутой позже Станислав и дю Шатле подошли к Баржетону.

– Сударь, – сказал оскорбленный муж, – вы утверждаете, что застали госпожу де Баржетон в весьма щекотливом положении с господином де Рюампре?

– С господином Шардоном, – насмешливо вставил Станислав, не считавший Баржетона человеком решительным.

– Пусть так, – продолжал муж. – Ежели вы не откажетесь от своих слов в присутствии всего общества, которое собралось сейчас у вас, я попрошу вас озаботиться секундантом. Мой тесть, господин де Негрпелис, будет у вас в четыре часа утра. Итак, сделаем последние распоряжения, ибо дело можно уладить только при одном условии: я уже об этом сказал вам. По праву оскорбленной стороны выбор оружия за мной. Будем драться на пистолетах.

Всю дорогу г-н де Баржетон тщательно пережевывал свою речь, самую длинную за всю его жизнь; он произнес ее бесстрастно и чрезвычайно просто. Станислав побледнел и сказал самому себе: «А что же я, в сущности, видел?» Но у него не было иного выбора, как отказаться от своих слов перед всем городом в присутствии этого молчальника, который, по-видимому, вовсе не был расположен шутить, или принять вызов, несмотря на то что страх, отвратительный страх сжимал ему горло раскаленными клещами, и он предпочел опасность более отдаленную.

– Хорошо. До завтра, – сказал он г-ну де Баржетону, надеясь все же, что дело еще может уладиться.

Трое мужчин воротились в гостиную, и все взгляды устремились на их лица: дю Шатле улыбался, г-н де Баржетон чувствовал себя как дома, но Станислав был бледен. По его физиономии некоторые женщины догадались, о чем у них шла речь. «Они будут драться!» – передавалось шепотом из уст в уста. Половина гостей держалась того мнения, что Станислав виновен: бледность и весь его вид изобличали его во лжи; другая половина восхищалась манерой г-на де Баржетона держать себя. Дю Шатле напустил на себя важность и таинственность. Посвятив несколько минут созерцанию присутствующих, г-н де Баржетон удалился.

– Имеются у вас пистолеты? – сказал Шатле на ухо Станиславу, и тот вздрогнул всем телом.

Амели поняла все, и ей сделалось дурно; женщины поспешили отвести ее в спальню. Поднялся страшный шум, все заговорили сразу. Мужчины остались в гостиной и в один голос решили, что г-н де Баржетон поступил правильно.

– Каково это вам покажется? Поглядеть – тюфяк, а держит себя по-рыцарски, – сказал г-н де Сенто.

– Полноте, – сказал неумолимый Жак, – в молодости он отлично владел оружием. Отец мне рассказывал не раз о подвигах Баржетона.

– Пустое! Поставьте их в двадцати шагах друг от друга – и они промахнутся; надобно только взять кавалерийские пистолеты, – сказал Франсис, относясь к Шатле.

Когда все разошлись, Шатле успокоил Станислава и его жену, уверив, что все обойдется благополучно и что все преимущества в дуэли между человеком шестидесяти лет и человеком тридцати шести лет на стороне последнего.

На другое утро, когда Люсьен завтракал с Давидом, воротившимся из Марсака обезнадеженным, вошла взволнованная г-жа Шардон.

– Слышал, Люсьен, новость? Об этом говорят всюду, даже на рынке. Господин де Баржетон чуть не убил господина де Шандура сегодня, в пять часов утра, на лугу господина де Бержерака. (Имя это дает пищу для каламбуров.) Господин де Шандур будто бы говорил вчера, что застал тебя с госпожой де Баржетон.

– Ложь! Госпожа де Баржетон ни в чем не повинна! – вскричал Люсьен.

– Я слышала, как один крестьянин, приехавший из деревни, рассказывал об этой дуэли во всех подробностях. Он видел все со своей телеги. Господин де Негрпелис прибыл в три часа утра: он был секундантом господина де Баржетона; он сказал господину де Шандуру, что, ежели с его зятем случится несчастье, он сам потребует удовлетворения. Пистолеты дал им один кавалерийский офицер; господин де Негрпелис несколько раз их проверил. Господин дю Шатле сначала возражал против проверки пистолетов; тогда обратились за разрешением спора к офицеру, и тот подтвердил, что в исправности оружия всегда полезно убедиться, ежели не хотят обратить дуэль в детскую забаву. Секунданты поставили противников в двадцати пяти шагах друг от друга. Господин де Баржетон держал себя как на прогулке. Он выстрелил первый, и пуля попала господину де Шандуру в шею, он упал, не успев выстрелить. Только что хирург из госпиталя говорил, будто господин де Шандур так на всю жизнь и останется с кривой шеей. Я спешила рассказать тебе об исходе дуэли, чтобы ты не вздумал пойти к госпоже де Баржетон и не показывался бы в Ангулеме: боюсь, как бы кто-нибудь из друзей господина де Шандура не оскорбил тебя.

В эту минуту Жантиль, лакей г-на де Баржетона, сопровождаемый типографским учеником, вошел в комнату и подал Люсьену письмо Луизы.

Мой друг, Вам, без сомнения, уже известен исход дуэли между Шандуром и моим мужем. Сегодня мы никого не принимаем; будьте осторожны, нигде не показывайтесь, прошу об этом во имя любви ко мне. Не находите ли Вы, что лучше всего было бы провести этот грустный день у Вашей Беатриче, жизнь которой совсем переменилась в связи с этим событием и которой надобно о многом поговорить с Вами.

– К счастью, – сказал Давид, – послезавтра у нас свадьба; вот тебе повод реже бывать у госпожи де Баржетон.

– Дорогой Давид, – отвечал Люсьен, – она просит меня прийти сегодня; я думаю, что придется уступить ее просьбе, она лучше нас знает, как мне следует вести себя при настоящих обстоятельствах.

– Неужели все уже у вас готово? – спросила Давида г-жа Шардон.

– А вот поглядите-ка! – отвечал Давид, радуясь, что может похвалиться помещением во втором этаже, где все было отделано заново, все сияло.

Там все дышало той нежностью, что царит в доме молодой четы, где подвенечные цветы и фата невесты еще венчают семейную жизнь, где весна любви отражается в каждой вещи, где все блистает белизной, чистотой, где все в цвету.

– Ева будет жить как принцесса, – сказала мать, – но вы истратили тьму денег! Сущее безумство!

Давид улыбнулся и ничего не ответил, ибо г-жа Шардон коснулась открытой раны, которая втайне ужасно мучила бедного влюбленного; расходы настолько превысили его предположения, что приступить к пристройке во дворе не было возможности. Теща еще долгое время должна была обходиться без своего уголка, о котором заботился для нее зять. Великодушные люди глубоко страдают, если им случается порой не сдержать обещания, внушенного, так сказать, тщеславию нежных чувств. Давид тщательно скрывал свое безденежье, щадя чувствительность Люсьена, который мог бы быть подавлен жертвами, принесенными ради него.

– Ева и ее подруги тоже не ленились, – сказала г-жа Шардон. – Приданое, столовое белье, все готово. Девушки так любят Еву, что потихоньку от нее покрыли тюфяки белой бумазеей с розовой каймой. И так получилось мило, что от одного вида захочется выйти замуж!

Мать и дочь истратили все свои сбережения на покупку вещей, о которых мужчины всегда забывают. Зная, с какой роскошью обставляет Давид свой дом, ибо шла речь даже о фарфоровом сервизе из Лиможа, они приложили все старания, чтобы приданое не уступало приобретениям Давида. Это соревнование в любви и щедрости грозило тем, что новобрачные с самого же начала их семейной жизни должны были очутиться в стесненном положении, несмотря на всю видимость мещанского довольства, которое могло даже сойти за роскошь в таком глухом провинциальном городе, каким был в ту пору Ангулем.

Как только Люсьен увидел, что его мать и Давид прошли в спальню, убранство которой и голубые с белым обои ему уже были знакомы, он убежал к г-же де Баржетон. Он застал Наис и ее мужа за завтраком; после утренней прогулки у г-на де Баржетона появился отличный аппетит, и он кушал, как будто ничего и не произошло. Г-н де Негрпелис, старый помещик, фигура внушительная, представитель старинной французской знати, сидел подле дочери. Когда Жан-тиль доложил о г-не де Рюампре, седовласый старец бросил на Люсьена испытующий взгляд: отец спешил составить мнение о человеке, которого отличила его дочь. Необыкновенная красота Люсьена так живо поразила его, что он не мог скрыть одобрительного взгляда; но в увлечении дочери он, казалось, был склонен видеть скорее мимолетную прихоть, нежели страсть, скорее причуду, нежели прочную привязанность. Завтрак кончался, Луиза могла подняться из-за стола, оставив отца с г-ном де Баржетоном, и она знаком пригласила Люсьена следовать за ней.

– Друг мой, – сказала она голосом печальным и радостным в одно и то же время, – я уезжаю в Париж, а мой отец приглашает Баржетона в Эскарба, где он и пробудет, куда я буду в отсутствие. Госпожа д’Эспар, урожденная Бламон-Шоври, с которой мы в родстве через д’Эспаров, старшую ветвь рода де Негрпелис, чрезвычайно влиятельная особа и сама по себе, и благодаря родственным связям. Ежели ей угодно будет признать меня родней, я всячески поддержу наши отношения: благодаря своему влиянию она может исходатайствовать приличный пост Баржетону. Я похлопочу, чтобы двор пожелал видеть его депутатом от Шаранты, а это поможет его избранию в нашем округе. Положение депутата может благоприятствовать в дальнейшем моим действиям в Париже. Ведь это ты, мой милый мальчик, внушил мне мысль переменить образ жизни! Сегодняшняя дуэль принуждает меня на некоторое время отказаться от приемов; всегда найдутся люди, которые примут сторону Шандуров, не так ли? При таких условиях, а тем более в маленьком городе, нам не остается ничего иного, как уехать на то

время, покуда не улягутся страсти. Что ожидает меня? Успех? Тогда я навсегда прощусь с Ангулемом. Неуспех? Тогда я останусь в Париже до той поры, покуда обстоятельства не сложатся так, что лето я буду проводить в Эскарба, а зиму в Париже. Вот жизнь, которая приличествует порядочной женщине, а я чересчур долго колебалась начать такую жизнь. На сборы нам достаточно одного дня, я выеду завтра в ночь. Вы, конечно, будете меня сопровождать? Выезжайте раньше меня. Между Манлем и Рюфеком я возьму вас в свою карету, и мы быстро домчимся до Парижа. Только там, мой милый, надобно жить выдающимся людям. Только с людьми равными себе следует вести знакомство. В чуждой среде задыхаешься. Притом Париж, столица мыслящего мира, явится ареной ваших успехов! Торопитесь преодолеть пространство, отделяющее вас от Парижа! Грешно допустить, чтобы ваша мысль плесневела в провинциальной глуши. Торопитесь войти в общение с великими людьми, гордостью девятнадцатого века! Приблизьтесь ко двору и власти. Ни почести, ни слава не станут отыскивать талант, прозябающий в маленьком городке. Можете ли вы назвать мне какое-нибудь великое творение, созданное в провинции? Вспомните-ка вдохновенного и несчастного Жан-Жака Руссо! Как неудержимо стремился он к этому духовному солнцу, что порождает славных мира сего, воспламеняя умы в состязаниях соперничества! Ужели не пристало вам занять свое место среди светил, которые восходят во всякую эпоху? Вы не поверите, как полезно для молодого таланта, когда его ласкает высший свет. Я представлю вас госпоже д'Эспар; а в ее салон попасть нелегко; там вы встретите всех высокопоставленных особ, министров, посланников, парламентских ораторов, самых влиятельных пэров, богачей и знаменитостей. Надобно быть отчаянным неудачником, чтобы, обладая молодостью, красотой, дарованием, не возбудить участия к себе. Великие таланты чужды мелочности: они поддержат вас. А стоит только прийти молве, что вы занимаете высокое положение, и труды ваши приобретут огромную ценность. Люди искусства должны быть на виду: в этом вся задача! Итак, вам представится тысяча случаев разбогатеть, получить синекуру, субсидии от казны. Бурбоны так любят покровительствовать литературе и искусствам! Значит, будьте поэтом-католиком, поэтом-роялистом! Это не только превосходно само по себе, но вы на этом составите себе состояние. Ужели оппозиция, ужели либерализм распределяют места, дают награды и приносят богатство писателю? Стало быть, вам надо избрать верный путь и идти туда, куда идут все талантливые люди. Я доверила вам свою тайну, храните глубокое молчание и готовьтесь сопровождать меня. Ужели не хотите? – прибавила она, удивленная молчанием своего возлюбленного.

Люсьен, ошеломленный видением Парижа, которое промелькнуло перед ним, покуда он слушал эти соблазнительные речи, почувствовал, что до сей поры его мысль пребывала в дремотном состоянии, и ему представлялось, что только теперь она вполне пробудилась, так расширился его кругозор: ему показалось, что, сидя в Ангулеме, он напоминает лягушку, притаившуюся под камнем на дне болота. Париж во всем своем великолепии, Париж, который рисуется в воображении провинциала неким эльдорадо, возник перед ним в золотом одеянии, в алмазном королевском венце, раскрывающий талантам свои объятия. Знаменитые люди братски приветствовали его. Там все улыбалось гению. Там нет завистливых дворянчиков, падких на колкости, которые уязвляют писателя, ни тупого равнодушия к поэзии. Там рождаются творения поэтов, там их оплачивают, выпускают в свет. Прочтя первые страницы «Лучника Карла IX», книгопродавцы раскроют кошель и спросят: «Сколько прикажете?» К тому же он понимал, что, конечно, в условиях путешествия они сблизятся, г-жа де Баржетон будет вполне принадлежать ему и они станут жить вместе.

На вопрос: «Ужели не хотите?» – он отвечал слезами, объятиями, горячими поцелуями. Но вдруг, пораженный внезапным воспоминанием, он отпрянул, воскликнув:

– Боже мой, послезавтра свадьба сестры!

Этот крик был последним вздохом благородного и чистого юноши. Узы, столь крепко привязывающие молодые сердца к семье, к другу детства, к первоисточнику чистых радостей, должны были распасться под страшным ударом секиры.

– Помилуйте, – вскричала надменная Негрпелис, – что общего между свадьбой сестры и нашей любовью? Ужели вам так лестно играть первую роль на этой свадьбе среди мещан и мастеровых, что вы не можете ради меня пожертвовать столь благородными удовольствиями? Какая великая жертва! – сказала она с презрением. – Сегодня утром я послала мужа драться из-за вас! Подите прочь, сударь, оставьте меня! Я обманулась.

Она в изнеможении упала на диван. Люсьен бросился к ней, умоляя о прощении, кляня свою семью, Давида и сестру.

– Я так верила в вас! – сказала она. – Господин де Кант-Круа боготворил свою мать, но, добиваясь того, чтобы я написала ему: «Я довольна Вами!» – он погиб в огне сражения. А вы ради поездки со мною не можете отказаться от свадебного обеда!

Люсьен готов был убить себя, его отчаяние было столь искренне, столь глубоко! И Луиза все ему простила, но все же дала почувствовать, что он должен искупить свой проступок.

– Идите, – сказала она в заключение, – но будьте осторожны и завтра в полночь ждите меня в ста шагах за Манлем.

Люсьен не чувствовал земли под ногами, он воротился к Давиду, преследуемый надеждами, как Орест фуриями, ибо предвидел тысячу трудностей, которые вмещались в одно страшное слово: *деньги*. Прозорливость Давида так ужасала его, что он заперся в своем прелестном кабинете, чтобы прийти в себя от потрясения, вызванного переменой в его судьбе. Итак, придется покинуть эту квартирку, устройство которой обошлось так дорого, и признать тем самым, что все жертвы были напрасны. Люсьену пришло на ум, что тут могла бы поселиться мать и тогда Давиду не надо будет тратиться на пристройку в глубине двора. Его отъезд, пожалуй, даже пойдет на пользу семье; он нашел тысячу оправдательных причин для своего бегства, ибо нет большего иезуита, чем наши желания. Он сейчас же побежал в Умо к сестре, чтобы рассказать ей о повороте в своей судьбе и посоветоваться с нею. Проходя мимо лавки Постэля, он подумал, что если не представится другой возможности, то он займет у преемника отца сумму, необходимую для жизни в Париже в течение года.

«Ежели я буду жить с Луизой, то экую в день окажется для меня целым состоянием, а это составит всего тысячу франков в год, – подумал он. – Ну а через полгода я буду богат!»

Ева и его мать, под клятвенным обещанием хранить тайну, были посвящены Люсьеном в его сердечные дела. Обе плакали, слушая честолюбца; и когда он пожелал узнать причину их печали, они признались, что все их сбережения ушли на столовое и постельное белье, на приданое Евы, на покупку всяких вещей, о которых не подумал Давид, и что все же они счастливы, внося свою долю, ибо в брачном контракте типограф указал, что Ева приносит в приданое десять тысяч франков. Тогда Люсьен заговорил о возможности займа, и г-жа Шардон взяла на себя неприятную обязанность попросить у Постэля тысячу франков сроком на один год.

– Послушай, Люсьен, – сказала Ева, у которой сердце защемило, – значит, ты не будешь у меня на свадьбе? О, воротись! Я подожду несколько дней. Раз ты ее проводишь, она недели через две отпустит тебя! Неужто она не уступит тебя нам на недельку? Ведь мы вырастили тебя для нее! Наш брак не даст нам счастья, если тебя не будет... Но достанет ли тебе тысячи франков? – сказала она, прерывая самое себя. – Хотя фрак сидит на тебе божественно, но он у тебя всего один! У тебя всего две тонкие рубашки, а прочие шесть из грубого полотна. У тебя всего три батистовых галстука, а прочие три из простого жаконета, да и носовые платки не очень-то хороши. Разве у тебя в Париже найдется сестра, которая выстирает твоё белье тотчас же, как только потребуется? Надобно иметь побольше белья. У тебя всего одни нанковые панталоны, сшитые в этом году, прошлогодние чересчур узки; тебе придется одеваться в Париже,

а парижские цены не то что в Ангулеме. У тебя всего два исправных белых жилета, остальные я уже чинила. Послушай, я советую взять с собой две тысячи франков.

В эту минуту вошел Давид, и, видимо, он услышал последние слова, потому что молча посмотрел на брата и сестру.

– Не таите от меня ничего, – сказал он.

– Вообрази себе, – вскричала Ева, – он уезжает с нею!

– Постэль согласен одолжить тысячу франков, – сказала, входя в комнату и не замечая Давида, г-жа Шардон, – но только на полгода, и притом он требует от тебя вексель с поручительством Давида; он говорит, что ты не можешь представить никакого обеспечения.

Мать оборотилась, увидела зятя, и все четверо замолчали. Семейство Шардонов почувствовало, что они чересчур злоупотребляют простотою Давида. Все были пристыжены. Слезы навернулись на глаза типографа.

– Значит, ты не будешь у меня на свадьбе? – сказал он. – Значит, ты не останешься с нами? А я растратил все, что у меня было! Ах, Люсьен, ведь я как раз принес Еве скромные свадебные подарки, – сказал он, смахнув слезу и доставая из кармана футляры. – Не знал я, что буду сожалеть о покупке.

Он положил на стол перед тещей несколько сафьяновых коробочек.

– На что так баловать меня? – сказала Ева с ангельской улыбкой, противоречащей ее словам.

– Милая матушка, – сказал типограф, – скажите господину Постэлю, что я согласен подписать вексель, ведь я вижу по твоему лицу, Люсьен, что ты твердо решил ехать.

Люсьен медленно и печально склонил голову и минутой позже сказал:

– Не судите обо мне дурно, мои любимые ангелы! – Он обнял Еву и Давида, привлек их к себе, прижал к груди и сказал: – Обождите немного, и вы узнаете, как я вас люблю! Ах, Давид, на что бы годилась возвышенность мысли, ежели бы она не ставила нас выше мелких условностей, которыми законы опутывают наши чувства? Ужели даже в разлуке душою я не буду с вами? Ужели мысленно мы не будем всегда вместе? Неужто я должен пренебречь своим призванием? Неужто книгопродавцы поскачут в Ангулем в поисках «Лучника Карла IX» и «Маргариток»? Раньше ли, позже ли, а мне придется сделать шаг, который я делаю сейчас, и неужто когда-нибудь обстоятельства сложатся более благоприятно? Разве вся моя будущность не зависит от того, что сразу же по приезде в Париж я буду введен в салон маркизы д'Эспар?

– Он прав, – сказала Ева. – Не сами ли вы говорили, что ему следует ехать в Париж?

Давид взял Еву за руку, повел ее в узенькую келейку, бывшую ее спальней целые семь лет, и тихо сказал ей:

– Ты говорила, любовь моя, что ему нужны две тысячи франков? Постэль дает всего тысячу.

Ева печально взглянула на жениха, и взгляд этот выразил всю глубину ее скорби.

– Выслушай меня, моя обожаемая Ева, наша жизнь вначале сложится нелегко. Да, мои траты поглотили все, что у меня было. У меня осталось всего две тысячи франков; тысяча франков нужна на то, чтобы работала типография. Отдать другую тысячу твоему брату равносильно тому, что лишить себя куска хлеба, лишиться покоя. Будь я один, я знал бы, как поступить, но нас двое. Решай!

Ева, растроганная, кинулась к своему возлюбленному, нежно его обняла, поцеловала и, горько плача, шепнула ему на ухо:

– Поступи так, как если бы ты был один, а я буду работать, чтобы возместить эту сумму!

Несмотря на то что помолвленные обменялись самым горячим поцелуем, Давид, возвращаясь к Люсьену, оставил Еву в подавленном состоянии.

– Не огорчайся, – сказал он ему, – ты получишь нужные тебе две тысячи франков.

– Идите оба к Постэлю, – сказала г-жа Шардон, – ведь нам обоим надо подписать вексель.

Когда друзья воротились от аптекаря, Ева и ее мать, опустившись на колени, молились Богу. Если они и понимали, какие надежды могли осуществиться в будущем по возвращении Люсьена, все же чувство подсказывало им, что, разлучаясь, они теряют слишком многое, и они находили, что разлука, которая разобьет их жизнь и обречет на вечную тревогу за судьбу Люсьена, – это слишком дорогая цена будущего счастья.

– Ежели ты когда-нибудь забудешь эти минуты, – сказал Давид на ухо Люсьену, – ты будешь последним человеком.

Конечно, типограф почел необходимым в напутствие предостеречь Люсьена: он опасался влияния г-жи де Баржетон не менее, чем рокового непостоянства его характера, способного увлечь его как на славный, так и на бесславный путь. Ева проворно собрала вещи Люсьена. Этот Фернандо Кортес от литературы уезжал с легкой кладью. Лучший сюртук, лучший жилет и одна из двух его лучших сорочек были на нем. Белье, знаменитый фрак, прочие вещи и рукописи составили такой скромный сверток, что Давид – лишь бы скрыть его от взоров г-жи де Баржетон – предложил переслать пакет дилижансом в адрес одного из своих посредников, бумажного торговца, с просьбой передать его Люсьену.

Несмотря на предосторожности, принятые г-жой де Баржетон в связи с ее отъездом, г-ндю Шатле проведал о нем и пожелал узнать, едет ли она одна или с Люсьеном; он послал лакея в Рюфек с наказом тщательно осматривать все кареты, когда будут сменять почтовых лошадей.

«Ежели она похитит своего поэта, – подумал он, – она в моей власти».

Люсьен выехал на другой день с рассветом, его сопровождал Давид, который достал двуколку и лошадь под предлогом, что едет к отцу поговорить о делах; невинная ложь при сложившихся обстоятельствах казалась вполне правдоподобной. Друзья поехали в Марсак и провели часть дня у старого Медведя; затем вечером выехали в Манль и, миновав город, поджидали там г-жу де Баржетон. Она приехала под утро. Увидев карету, доживавшую уже шестой десяток, столько раз виденную в каретном сарае Баржетонов, Люсьен испытал одно из сильнейших волнений в своей жизни; он бросился к Давиду, обнял его, и тот ему сказал: «Дай Бог, чтобы это послужило к твоему благу!» Типограф сел в свой убогий экипаж и поехал домой с тяжелым сердцем, ибо у него были самые ужасные предчувствия касательно жизни Люсьена в Париже.

Часть вторая. Провинциальная знаменитость в Париже

Ни Люсьен, ни г-жа де Баржетон, ни Жантиль, ни горничная Альбертина не рассказывали о путевых происшествиях; но надо думать, что для влюбленного, предвкушавшего от похищения все радости, путешествие было омрачено постоянным присутствием слуг. Люсьен, впервые ехавший в почтовой карете, был крайне смущен, когда оказалось, что он истратил в пути от Ангулема до Парижа почти все деньги, рассчитанные на год жизни. Как и все люди, сочетающие в себе силу таланта с обаятельностью ребенка, он поступал опрометчиво, не скрывая простодушного изумления перед новым для него миром. Мужчина должен хорошо изучить женщину, прежде чем открыться ей в чувствах и мыслях, не приукрашая их. Ребяческие выходки вызывают улыбку нежной и великодушной возлюбленной, и она все понимает; но иная, в ветреном своем тщеславии, не простит любовнику ребячливости, легкомыслия или мелочности. Многие женщины чересчур преувеличивают свои чувства и желают из кумира создать бога, между тем как другие, любящие мужчину более из любви к нему, нежели из любви к себе, равно обожают и его слабости, и его достоинства. Люсьен еще не разгадал, что у г-жи де Баржетон любовь была возвращена гордостью. Вина его была в том, что он не понял иных улыбок, скользивших по лицу Луизы во время путешествия, не пытался их пресечь и по-прежнему резвился, точно крысенок, вырвавшийся из норы.

На рассвете путники прибыли в гостиницу «Гайар-Буа», что в улице Эшель. Любовники сильно устали, и Луиза прежде всего пожелала отдохнуть; она легла в постель, приказав Люсьену спросить для себя комнату вверху над помещением, занятым ею. Люсьен проспал до четырех часов. Г-жа де Баржетон распорядилась разбудить его к обеду; Люсьен поспешно оделся, услышав, который час, и застал Луизу в одной из омерзительных комнат, позорящих Париж, где, вопреки множеству притязаний на щегольство, нет ни одной гостиницы, в которой богатый путешественник мог бы себя чувствовать как дома. В этой холодной комнате, без солнца, с полинялыми занавесями на окнах, с паркетным полом, натертым до блеска, нелепого здесь, уставленной ветхой, допотопной или купленной по случаю мебелью дурного вкуса, Люсьен, правда еще полусонный, не узнал своей Луизы. И точно, иные люди как бы утрачивают свой облик и значительность, стоит лишь им разлучиться с людьми, с вещами, со всем тем, что служило для них обрамлением. Человеческие лица окружает некое подобие атмосферы, присущей только им, – так светотень на фламандских картинах необходима для жизни образов, брошенных на холст гением живописца. Почти все провинциалы таковы. Притом г-жа де Баржетон проявляла более достоинства, более рассудительности, нежели то подобает проявлять в часы, когда близится безоблачное счастье.

Жаловаться Люсьен не мог: прислуживали Жантиль и Альбертина. Обед не имел ни малейшего притязания на обилие и отменное качество провинциальных трапез. Кушанья приносились из соседнего ресторана, они подавались к столу скромными порциями, урезанными спекуляцией; на всем лежал отпечаток скудости. Париж непригляден в том малом, что выпадает на долю людей среднего достатка. Люсьен ожидал конца обеда, чтобы спросить Луизу о причине перемены, казавшейся ему необъяснимой. Он не обманулся. Важное событие, – ибо в душевной жизни размышления – те же события, – произошло, покамест он спал.

Около двух часов пополудни в гостинице появился Сикст дю Шатле; он велел разбудить Альбертину, изъявил желание повидаться с ее госпожой и воротился, едва г-жа де Баржетон успела окончить свой туалет. Анаис, крайне удивленная – она была так уверена, что укрылась надежно, – приняла дю Шатле на исходе третьего часа.

– Я последовал за вами, пренебрегая гневом начальства, – сказал он, раскланиваясь с нею. – То, что я предвидел, случилось. Но пусть я потеряю должность, все же я не допущу вашей гибели!

– Что означают ваши слова? – вскричала г-жа де Баржетон.

– Я понял: вы любите Люсьена, – продолжал он ласково, с покорным видом. – Нужно до забвения рассудка полюбить человека, чтобы пренебречь всеми приличиями, а вам они хорошо известны! Милая моя, обожаемая Наис, неужели вы надеетесь быть принятой у госпожи д’Эспар или в каком-либо ином салоне, если пройдет молва, что вы чуть ли не сбежали из Ангулема с каким-то юнцом и тем более после дуэли господина де Баржетона с господином де Шандуром. Пребывание вашего мужа в Эскарба могут истолковать как разрыв. В подобных случаях порядочные люди сначала дерутся за честь жены, затем дают ей свободу. Любите господина де Рюампре, опекайте его, делайте все, что вам вздумается, но не живите под одной кровлей с ним! Если кто-нибудь узнает, что вы вдвоем совершили путешествие в карете, на вас станут пальцем показывать в том кругу, где вы желаете быть принятой. И затем, Наис, не приносите жертв этому юноше; вы не имели еще случая с кем-либо его сравнить, он не выдержал еще ни одного испытания и, может статься, пренебрежет вами ради какой-нибудь парижанки, которую сочтет более необходимой для своих честолюбивых замыслов. Я не хочу порочить любимого вами человека, но позвольте мне ваши интересы поставить выше его интересов. Выслушайте же меня. Изучите его! Обдумайте хорошенько ваш поступок. И если двери перед вами будут закрыты, если женщины не пожелают вас принимать, оберегите себя хотя бы от раскаяния, решите твердо, что человек, ради которого вы принесли столько жертв, этого достоин и это оценит. Особенно щепетильна и взыскательна госпожа д’Эспар, она сама разошлась с мужем, и свет так и не проник в тайну их размолвки: Наваррены, Бламон-Шоври, Ленонкуры – короче, все родственники окружили ее, самые чопорные дамы бывают у нее и оказывают ей почетный прием; право, можно подумать, что виновен маркиз д’Эспар! При первом же посещении ее дома вы убедитесь в правильности моих советов. Я знаю Париж и могу вам сказать заранее: в салоне маркизы вы окажетесь в отчаянном положении, если она узнает, что вы поселились в гостинице «Гайар-Буа» вместе с сыном аптекаря, называйся он даже де Рюампре, коли ему так угодно. Здесь у вас отыщутся соперницы коварнее и хитрее Амели: они поспешат узнать, кто вы, знатны ли вы, откуда пожаловали, чем занимаетесь. Вы полагались на инкогнито, как я понимаю. Но вы из породы людей, для которых инкогнито невозможно. Не столкнетесь ли вы повсюду с Ангулемом? Депутаты ли съедутся на открытие палат, генерал ли заглянет в Париж во время отпуска, – довольно одному ангулемцу встретить вас – и участь ваша будет решена самым нелепым образом: впредь вы окажетесь лишь любовницей Люсьена. Я к вашим услугам всегда и во всем. Я остановился в улице Фобур-Сент-Оноре, в двух шагах от госпожи д’Эспар, у главноуправляющего сборами. Я достаточно коротко знаком с супругой маршала де Карильяно, с госпожой де Серизи и с председателем Государственного совета, я могу вас представить; но вы и без меня войдете в свет через госпожу д’Эспар. Вам ли желать быть принятой в том или ином салоне? Вы будете желанны во всех салонах!

Дю Шатле говорил, и ни разу г-жа де Баржетон не прервала его: она была сражена, признав правоту его доводов. И точно, ангулемская королева полагалась на инкогнито.

– Вы правы, дорогой друг, – сказала она, – но как быть?

– Разрешите мне, – отвечал Шатле, – найти для вас пристойную квартиру с обстановкой; квартира станет дешевле гостиницы, и у вас будет дом; ежели вы меня послушаетесь, нынешнюю же ночь вы проведете там.

– Но как вы узнали мой адрес? – спросила она.

– Вашу карету узнать было нетрудно, к тому же я следовал за вами. Ваш адрес почтарь сказал моему вознице во время остановки в Севре. Позвольте мне быть вашим квартирмейстером. Как только я вас устрою, изведу запиской.

– Хорошо, – сказала она.

Это слово, казалось, ничего не значило и значило все. Барон дю Шатле изъяснялся на светском языке с женщиной светской. Он предстал перед нею во всем блеске парижской моды. Щегольской кабриолет в красивой запряжке ожидал его. Г-жа де Баржетон, погруженная в размышления, нечаянно задержалась возле окна и видела, как отъезжал старый денди. Минутой позже Люсьен, проворно вскочивший с постели, проворно одевшийся, предстал ее взорам в старомодных нанковых панталонах, в поношенном сюртучке. Он был прекрасен, но смешно одет. Нарядите Аполлона Бельведерского или Антиноя водоносом – узнаете ли вы тогда божественное творение греческого или римского резца? Глаз сравнивает ранее, нежели сердце успевает внести свою поправку в невольный мгновенный приговор. Различие между Люсьеном и Шатле было чересчур резким и бросалось в глаза.

Было около шести часов, когда обед окончился, и г-жа де Баржетон жестом пригласила Люсьена сесть рядом с нею на скверный диван, обитый красным миткалем в желтых цветочках.

– Люсьен, – сказала она, – мы совершили безрассудство, пагубное для нас обоих. Не сочтешь ли ты разумным исправить наш поступок? В Париже мы не должны жить вместе, никто не должен заподозрить, что мы и приехали вместе. Твое будущее во многом зависит от моего положения в обществе, и я не хочу чем-либо тебе повредить. Вот отчего нынче же вечером я выеду из гостиницы. Я поселюсь в двух шагах отсюда. Ты останешься здесь. Встречаться мы будем каждый день, не подавая повода для сплетен.

Луиза посвящала Люсьена в законы большого света, а он смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Не постигнув еще того, что женщины, отрешаясь от своих безрассудств, отрешаются от любви, юноша все же понял, что для Луизы он не прежний ангулемский Люсьен. Она говорила только о себе, о своих интересах, о своей репутации, о высшем свете и, оправдывая свое себялюбие, пыталась внушить Люсьену, что ею руководит лишь забота о нем. У него не было никаких прав на Луизу, столь быстро преобразившуюся в г-жу де Баржетон, и, что самое главное, у него не было никакой власти. И он не мог остановить крупных слез, катившихся из глаз.

– Ежели я ваша слава, вы для меня нечто большее. Вы моя единственная надежда и все мое будущее. Я полагал, что, готовясь делить со мною мои успехи, вы могли бы разделить и мои невзгоды. И вот мы уже разлучаемся.

– Вы судите меня, – сказала она. – Вы меня не любите.

Люсьен посмотрел на нее так печально, что она не могла не сказать:

– Милый мальчик, я останусь, если ты этого хочешь. Мы погубим себя, лишимся опоры. Но когда мы оба окажемся несчастными, отверженными, когда невзгоды – предвидеть надо все – загонят нас обратно в Эскарба, вспомни, любовь моя, что я предрекала такую развязку, я советовала тебе начать карьеру в согласии с законами света, подчиниться им.

– Луиза, – отвечал он, обнимая ее, – меня пугает твоя рассудительность. Вспомни, ведь я совершенный младенец, ведь я всецело отдался твоей, дорогой мне, воле. Я хотел с бою взять верх над людьми и обстоятельствами, но, если твоя помощь послужит моему успеху, я буду счастлив сознанием, что обязан тебе всеми моими удачами! Прости! Я слишком многое связал с тобою, вот отчего я так боюсь всего. Разлука предвещает, что я буду покинут, а для меня это смерть.

– Милый мой мальчик, свет требует от тебя немногого, – отвечала она. – Лишь одного: ночь проводи здесь. Днем мы будем неразлучны, и в том нет греха.

Его приглубили, и он вполне успокоился.

Часом позже Жантиль подал записку, в которой Шатле сообщал г-же де Баржетон, что квартира для нее найдена в Новой Люксембургской улице. Она спросила, где находится эта улица, и, узнав, что неподалеку от улицы Эшель, сказала Люсьену: «Мы соседи».

Два часа спустя Луиза села в карету, присланную дю Шатле, и отбыла к себе. Квартира – одна из тех, которые торговцы обставляют мебелью и сдают внаем богатым депутатам или важным особам, наезжающим в Париж, – была роскошная, но неудобная. Люсьен воротился к одиннадцати часам в скромную гостиницу «Гайар-Буа», успев увидеть в Париже только часть улицы Сент-Оноре, что между Новой Люксембургской и улицей Эшель. Он лег спать в убогой комнатке, невольно сравнив ее с пышными покоями Луизы. Не успел он выйти от г-жи де Баржетон, как там появился барон дю Шатле во всей красе бального туалета: он возвращался от министра иностранных дел. Он спешил дать отчет в своих действиях г-же де Баржетон. Луиза казалась встревоженной, вся эта роскошь ее пугала. Провинциальные нравы все же сказались: она стала чересчур осторожна в денежных делах и проявляла столь излишнюю бережливость, что в Париже могла прослыть скупой. Она привезла с собою двадцать тысяч франков облигациями главного казначейства; эта сумма предназначалась на покрытие непредвиденных расходов и была рассчитана на четыре года: Луиза опасалась, достанет ли у нее денег и не случится ли ей войти в долги. Шатле сказал, что квартира обойдется шестьсот франков в месяц.

– Сухая безделица, – сказал он, заметив, что Наис вздрогнула. – Карета в вашем распоряжении. Это еще пятьсот франков в месяц; всего-навсего пятьдесят луидоров. Вам остается озаботиться туалетами. Женщина нашего круга не может жить по-иному. Ежели вы прочтете господина де Баржетона на пост главноуправляющего сборами или мечтаете видеть его при дворе, вы не должны изображать собою нищую. Здесь подают лишь богатым. Счастье, что при вас Жантиль для выездов и Альбертина для услуг. В Париже слуги – разорение. Но так как вам предстоит вращаться в обществе, да еще столь блистательном, обедать дома вам придется редко.

Г-жа де Баржетон и барон заговорили о Париже. Дю Шатле рассказал злободневные новости, посвятил ее в тысячу пустяков, знать которые необходимо, иначе вас не сочтут парижанином. Затем он назвал Наис те модные лавки, где ей следует одеваться: для тóков он указал мадам Эрбо, для шляп и чепцов – Жюльетту; он сообщил адрес модистки, которая вполне могла заменить Викторину; одним словом, он дал почувствовать, что необходимо *разангулемиться*. Перед уходом его осенила остроумная мысль, счастливо пришедшая в голову.

– Завтра, – сказал он небрежно, – у меня, очевидно, будет ложа в каком-нибудь театре; я заеду за вами и господином де Рюампре, вы сделаете мне большое одолжение, разрешив показать Париж вам обоим.

«Он великодушнее, нежели я полагала», – подумала г-жа де Баржетон, услышав, что Шатле приглашает и Люсьена.

В июне министры не знают, что им делать со своими ложами в театрах: правительственные депутаты и избиратели поглощены виноградниками или пекутся об урожае; самые взыскательные знакомые или в деревне, или путешествуют, – вот отчего лучшие ложи в парижских театрах заняты в эту пору разношерстными пришельцами, завсегдатаи никогда не встретятся с ними здесь; и по милости этих гостей театральная толпа напоминает потертый ковер. Дю Шатле сообразил, что благодаря этому обстоятельству он может, не слишком потратившись, доставить Наис развлечение, столь приманчивое для провинциалов.

Поутру, когда Люсьен впервые зашел к Луизе, ее не было дома. Г-жа де Баржетон выехала, чтобы сделать необходимые покупки. Она отправилась на совет с теми важными и знаменитыми законодателями в области женских нарядов, о которых говорил Шатле; ведь она уже известила маркизу д'Эспар о своем приезде. И хотя г-жа де Баржетон была самоуверенна, как все люди, привыкшие властвовать, все же ее обуревал страх показаться провинциалкой. Она была умна и понимала, насколько отношения между женщинами зависят от первого впечатления. И хотя она была убеждена, что скоро встанет на одну ступень с такими великосветскими дамами, как г-жа д'Эспар, все же на первых порах она чувствовала потребность в дружественном участии и особенно опасалась упустить какое-либо условие успеха. Вот отчего

она прониклась бесконечной признательностью к Шатле, который указал ей, как попасть в тон высшему парижскому свету. По странной случайности обстоятельства сложились так, что маркиза обрадовалась возможности оказать услугу родственнице своего мужа. Маркиз д'Эспар без всякой видимой причины покинул общество; он отрешился от всех дел, и личных, и политических, от семьи и от жены. Маркиза, став таким образом сама себе госпожою, нуждалась в признании света, и в настоящем случае она была счастлива заменить мужа, выступив покровительницею его родных. Она желала широко оповестить об этом покровительстве и тем подчеркнуть неправоту мужа. В тот же день она написала г-же *де Баржетон, урожденной Негреллис*, обворожительнейшую записку, одно из тех светских посланий, в которых форма столь изящна, что надобно потратить немало времени, чтобы заметить всю пустоту слов.

...Она благодарит случай, сблизивший с ее семьей особу, о которой она так много слышала; она страстно желает познакомиться с нею, ведь парижские привязанности столь непрочны, и невольно мечтаешь полюбить еще кого-нибудь на земле; и если бы их пути разошлись, еще одну мечту пришлось бы похоронить! Она отдает себя в полное распоряжение кузины; она желала бы ее посетить, но недомогание приковало ее к дому; она почитает себя в долгу перед кузиной, вспомнившей о ней.

Люсьен, как и все новоприезжие, очутившись впервые на парижских бульварах и улице Мира, дивился городу более, нежели людям. В Париже многое ошеломляет: чудеса модных лавок, высота зданий, поток карет и, более всего, непрестанное столкновение крайней роскоши и крайней нищеты. Подавленный впечатлениями от парижской толпы и чуждый ей, он впал в глубокое уныние. Люди, которые играли в провинции известную роль и на каждом шагу получали доказательства своей значительности, не могут примириться с полною и внезапною утратой своего положения. Быть чем-то в родном городе и ничем в Париже – эти два состояния нуждаются в переходной ступени, и тот, кому случится чересчур резко перейти от одного состояния к другому, невольно падает духом. Юный поэт привык встречать отклик на каждое свое чувство, наперсника для каждой своей мысли, душу, делившую с ним малейшее его ощущение, и Париж представился ему тягостною пустыней. Люсьен еще не съездил за прекрасным синим фракком, и скромность, чтобы не сказать бедность, одежды смущала его, когда в условленный час он шел к г-же де Баржетон, уже вернувшейся к тому времени домой. Он застал у нее барона дю Шатле; барон пригласил обоих отобедать с ним в «Роше де Канкаль». Люсьен, ошеломленный бешеным парижским круговоротом, не мог слова вымолвить, да и в карете их было трое; но он сжал руку Луизы, и, угадав его мысли, она ответила дружеским пожатием. После обеда Шатле повез своих гостей в Водевиль. Присутствие Шатле бесило Люсьена; он проклинал случай, занесший барона в Париж. Управляющий сборами отнес причины своего приезда в Париж на счет внушений самолюбия: он надеялся получить место старшего секретаря в каком-нибудь министерстве и докладчика дел в Государственном совете; он приехал, чтобы добиться подтверждения данных ему обещаний, ибо такой человек, как он, не может до скончания века оставаться управляющим сборами; лучше быть ничем, стать депутатом, вернуться на дипломатическое поприще. Он превозносил себя; Люсьен невольно признавал в этом щеголе превосходство светского человека, искушенного парижской жизнью, и ему не по душе было сознавать, что развлечениями он обязан дю Шатле. Там, где поэт смущался и робел, бывший секретарь для поручений чувствовал себя как рыба в воде. Дю Шатле подшучивал над нерешительностью, изумлением, вопросами и мелкими оплошностями неопытного соперника. Так старый морской волк подшучивает над новичком-матросом, когда тот во время качки нетвердо держится на ногах. Но все же Люсьен впервые смотрел водевиль в парижском театре, и, наслаждаясь им, он несколько утешился в огорчениях от собственной неловкости. В этот примечательный вечер он втайне отрекся от многих предубеждений провинциалов. Круг жизни его расширился, общество принимало иные масштабы. Соседство прекрасных парижанок в обворожительных свежих нарядах открыло ему, что уборы г-жи де Баржетон, однако ж, довольно

вычурные, устарели: ни ткань, ни покрои, ни цвет не отвечали моде. Прическа, так пленявшая его в Ангулеме, показалась ему безобразной в сравнении с причудливыми измышлениями парижанок. «Ужели она такой и останется?» – подумал он, не подозревая, что весь день был ею потрачен на подготовку будущего превращения. В провинции не приходится выбирать и сравнивать: привычка к лицам наделяет их условной красотой. Женщина, слывшая красавицей в провинции, не удостоивается ни малейшего внимания в Париже, ибо она хороша лишь в силу поговорки: *в царстве слепых и кривому честь*. Люсьен был поглощен сравнением, – так накануне г-жа де Баржетон сравнивала его с Шатле. Между тем и г-жа де Баржетон разрешала себе удивительные размышления по поводу своего возлюбленного. Бедный поэт, несмотря на редкостную красоту, отнюдь не блистал внешностью. Он был уморительно смешон рядом с молодыми людьми, сидевшими на балконе; на нем был сюртук с чересчур короткими рукавами, потешные провинциальные перчатки, куцый жилет; г-жа де Баржетон находила, что у него жалкий вид. Шатле старался занимать ее, он оказывал ей, ни на что не притязая, внимание, говорившее о глубокой страсти. Шатле, изящный, непринужденный, будто актер, вернувшийся на подмостки родного театра, отвоевал в два дня позиции, утраченные за шесть месяцев. Хотя общественное мнение не терпит резкой изменчивости в чувствах, все же известно, что любовники расходятся быстрее, нежели сходятся. И г-жу де Баржетон и Люсьена подстерегало взаимное разочарование, и причиной тому был Париж. Здесь жизнь ширилась в глазах поэта, общество принимало новый облик в глазах Луизы. Довольно было любой случайности, чтобы узы, соединявшие их, порвались. Удар секиры, страшный для Люсьена, не замедлил его поразить. Г-жа де Баржетон отвезла поэта в гостиницу и вернулась к себе в сопровождении дю Шатле, что весьма обескуражило бедного влюбленного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.